



Элизабет Гаскелл  
Крэнфорд



## Annotation

«Начнем с того, что Крэнфордом владеют амазонки: если плата за дом превышает определенную цифру, в нем непременно проживает дама или девица.» (Элизабет Гаскелл)

В этой забавной истории, наполненной юмором и яркими запоминающимися персонажами, Элизабет Гаскелл рисует картину жизни небольшого английского городка середины XIX века.

«Крэнфорд», воплощая собой портрет доброты, сострадания и надежды, продолжает и сейчас оставаться в странах английского языка одной из самых популярных книг Гаскелл. А обнародованное в 1967 году эпистолярное наследие писательницы показало, как глубоко и органично связана эта книга с личной биографией Гаскелл, со всем ее творчеством и с ее взглядами на искусство и жизнь.

Перевод И. Гуровой.

---

- [Элизабет Гаскелл](#)
  - [ПРЕДИСЛОВИЕ](#)
  - [ГЛАВА I](#)
  - [ГЛАВА II](#)
  - [ГЛАВА III](#)
  - [ГЛАВА IV](#)
  - [ГЛАВА V](#)
  - [ГЛАВА VI](#)
  - [ГЛАВА VII](#)
  - [ГЛАВА VIII](#)
  - [ГЛАВА IX](#)
  - [ГЛАВА X](#)
  - [ГЛАВА XI](#)
  - [ГЛАВА XII](#)
  - [ГЛАВА XIII](#)
  - [ГЛАВА XIV](#)
  - [ГЛАВА XV](#)
  - [ГЛАВА XVI](#)
- [notes](#)
  - [1](#)

- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)

- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)



**Элизабет Гаскелл**

**КРЭНФОРД**

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Советские читатели знают Элизабет Гаскелл главным образом как автора «Мэри Бартон» (1848), ее первого романа, в котором отразились трагические испытания английского трудового народа в «голодные сороковые годы», его отчаянная, но обреченная на поражение борьба за политическую «хартину» и первые попытки объединения для защиты своих социальных прав. Эта книга, рассказывающая о безмерных страданиях и великом гневе, проникнута мрачным пафосом. Сама Гаскелл считала, что только гений Данте мог бы воздать должное избранной ею теме. Ее «манчестерская история», по словам писательницы, была задумана как «трагическая поэма». Престарелая романистка Мария Эджворт, друг и предшественница Вальтера Скотта, прочитав «Мэри Бартон», писала, что Ситуация этого романа годилась бы «для высочайшей греческой трагедии».

«Мэри Бартон» вызвала бурю полемики и доставила писательнице много врагов и друзей (среди тех, кто приветствовал этот роман, были Карлейль, Лэндор, Диккенс) и положила начало английскому социальному роману на «рабочую» тему. Гаскелл на целый год опередила «Шерли» (1849) Шарлотты Бронте и на два года «Олтона Локка» (1850) Кингсли; есть основания думать, что ее роман мог натолкнуть Диккенса на мысль о создании «Тяжелых времен» (1854). Русских читателей впервые познакомил с этим романом Ф. М. Достоевский, поместивший перевод «Мэри Бартон» в негласно руководимом им журнале «Время». Выбор этот примечателен: в социально-этической проблематике романа занимает значительное место тема «преступления» и «наказания» — (убийство Карсона, совершенное Джоном Бартоном и позднее «покаяние» и «просветление» убийцы), столь важная для творчества Достоевского.

«Крэнфорд» (1853) был написан в совершенно другой тональности, хотя, как и «Мэри Бартон», был основан на лично пережитых впечатлениях Гаскелл. В своих письмах она не раз ссылалась на «подлинность» многих забавных происшествий, описанных в этой повести. «Там все правда, ведь я сама видела корову, одетую в серую фланелевую кофту, — и я знаю кошку, которая проглотила кружево...» — писала она Рескину. Эти столь несхожие, хотя и внутренне родственные друг другу книги обозначают два противоположных полюса, между которыми, по ее собственному выражению, «вибрировала» всю свою жизнь Элизабет Гаскелл.

«Я выросла в маленьком городке, а теперь мне выпало на долю жить

на окраине большого фабричного города; но с наступлением первых весенних дней, когда распускающаяся листва и сладостные запахи земли говорят мне, что «близится лето», во мне пробуждается инстинктивное беспокойство, меня тянет туда, где раскинулись безлюдные просторы, поросшие сочной травой. Так птица, разбуженная сменой времен года, устремляет свой полет к хорошо знакомой, хотя, казалось, позабытой стороне. Но я не птица, а женщина, меня привязывают к дому семейные обязанности, а так как к тому же я не обладаю крыльями голубки, а должна путешествовать в дилижансе и расплачиваться с кучером, то мне приходится оставаться дома», — писала Гаскелл друзьям.

В «Крэнфорде» отразилась эта ностальгия по далекой и близкой стране ее детства и юности, никогда не покидавшая Гаскелл на протяжении тридцати трех лет, прожитых ею в «раскаленном, страшном, дымном, гнусном Вавилоне Великом», каким казался ей промышленный Манчестер. «Всякий раз, когда мне неможется или я больна, я перечитываю «Крэнфорд» и — я хотела было сказать, наслаждаюсь им (но мне это говорить неловко), — и снова смеюсь над ним!» — писала Гаскелл Джону Рескину в феврале 1865 года, за полгода до смерти. В своем роде это была книга, написанная «в поисках утраченного времени».

Элизабет Гаскелл (1810–1865) родилась в Лондоне, где ее отец служил в казначействе. Рано лишившись матери, она годовалой девочкой была передана на попечение тетки и выросла в ее доме в маленьком захолустном городке Натсфорд, в графстве Чешир, славившемся своими лугами, молочным хозяйством (и, в частности, знаменитым чеширским сыром). Гаскелл не скрывала того, что именно Натсфорд послужил прототипом ее Крэнфорда — такого же старосветского городка, затерянного среди лугов и полей сельской «зеленой Англии». Все здесь в те времена дышало стариной. Правда, воинственные смысловые ассоциации, скрытые в названии Натсфорда (Knutsford буквально означает: «Канутов брод» или «Канутова переправа»), позволяющие относить его возникновение ко временам вторжения датчан, были давно приглушены временем. Но городок гордился своим рынком, возникшим, по преданию, еще в XIII веке, своими старинными домами с островерхими крышами и тяжелыми дубовыми балками, выступающими в кладке стен, и более поздними, но также уже старомодными красными кирпичными домами начала XVIII века, в стиле «королевы Анны» (в таком доме росла будущая писательница), чинно распланированными садами и прапрадедовской добротной и прочной домашней утварью.

Дочь Теккерей, писательница Анна Теккерей-Ритчи, посетившая

Натсфорд уже после смерти Гаскелл, воспроизвела в своем предисловии к «Крэнфорду» патриархальную атмосферу этого городка, где сохранились и гостиница «Георг», описанная в «Крэнфорде», и узенькие средневековые улочки и тупики, и куагнца в зеленой ложине на окраине города, более двухсот лет переходившая из рода в род, от отца к сыну, а рядом с нею — старая мельница под сенью высоких деревьев.

Гаскелл с любовью вспоминала старые поэтические чеширские народные обычаи и поверья, с которыми она сроднилась с детства. В день свадьбы земля или мостовая перед домом жениха и невесты посыпалась красным песком, поверх которого белым песком через воронку выводились затейливые узоры, цветочный орнамент, иногда даже поздравительные стихи (так было, вспоминала Гаскелл, в день ее собственной свадьбы, когда были разукрашены почти все дома города). На рождество детвора обходила дома, распевая под окнами старинные святочные песни. Утром первого мая, на рассвете, у каждой двери вывешивалась ветка дерева или пучок зелени. «Это был своего рода «язык деревьев», так как эти ветви характеризовали нрав главной обительницы дома, — поясняет Гаскелл. — Ветка березы означала хорошенькую девушку; ветка ольхи — сварливую бабу; ветка дуба — почтенную женщину». Но пучок крапивы или дрока, вывешенный насмешниками у дверей девушки, мог навсегда ее обесславить. Чеширские служанки, сверстницы будущей писательницы, верили в приворотное зелье — «драконову кровь»; они знали, что, увидев в первый раз молодой месяц, надо сделать ему книксен и перевернуть в кармане деньги — тогда их станет вдвое больше до того, как луна пойдет на ущерб.

Гаскелл признавалась, что и сама продолжает верить в некоторые приметы. «Увидеть падучую звезду — к несчастью... У меня всегда замирает сердце, когда я ее вижу». Она знает также, как коварен шиповник: никогда не следует строить планы или делиться своими замыслами, сидя под сенью цветущего шиповника: ничто из задуманного не сбудется! Она уверяет свою корреспондентку, что лично знакома с человеком, который собственными глазами видел фей. «А если бы мы с вами добывали на холме Олдерли-Эдж, на границе между Чеширом и Дербиширом, я могла бы точно указать вам вход в пещеру, где спит в золотой броне король Артур со своими рыцарями, пока не придет день, когда Англия будет в опасности и они встанут ей на помощь».

В быте и нравах обывателей Натсфорда — отставных чиновников, вдов и старых дев, доживающих свой век на скромную ренту, — было весьма мало героического. Но при всей мизерности их интересов и



мелочности наивного этикета, старательно соблюдаемого этими представителями захолустной провинциальной «элиты», их невинные претензии и маленькие чудачества были не лишены своей привлекательности: забавное простодушие их старомодного жизненного уклада, столь непохожего на деловой практицизм самоуверенных манчестерских буржуа, с его критериями пользы и чистогана, могло вызвать у пристального наблюдателя не только усмешку, но и сочувственное раздумье.

Став женой Уильяма Гаскелла, священника унитариянской церкви в Манчестере, Элизабет, казалось, навсегда распростилась со старосветской патриархальной «зеленой Англией» своего детства и юности. Всего шестнадцать миль расстояния да река Мерси — естественная граница между сельскохозяйственным Чеширом и промышленным Ланкаширом — отделяли ее от родного Натсфорда. Но дистанция измерялась не милями, а ходом истории. Манчестер, центр английской текстильной промышленности, был одним из аванпостов британского капитализма, оплотом буржуазного либерализма, по-своему ничуть не менее твердолобого, чем торийский консерватизм, колыбелью ханжеской «манчестерской школы» буржуазной политической экономии, ратовавшей за ничем не ограниченную свободу эксплуатации труда.<sup>[1]</sup> Буржуазное религиозное и моральное ханжество царило здесь, самодовольно «объясняя» страдания массы неимущих тружеников и безработных «волей господней» или «порочными склонностями» бедняков. Состоятельные прихожане мистера Гаскелла, унитарии-диссиденты гордились своим свободомыслием в толковании некоторых богословских догматов (они, в частности, отрицали существование святой троицы и не считали богом Иисуса Христа); но их социальные воззрения отличались таким же ханжеством. Пылкий интерес молодой жены их священнослужителя к самым болезненным и «неприятным» общественным проблемам того времени казался им достойным сурового демонстративного осуждения. Как при жизни, так и посмертно Элизабет Гаскелл громогласно обвиняли в том, что она «упорно и предвзято хочет оправдать несправедливое»: под «несправедливым», с точки зрения буржуазной морали, подразумевалось и народное возмущение классовым неравенством, и стремление женщин к равноправию, и обличение власти чистогана.

После выхода ее второго романа, «Руфь» (1853), драматической истории девушки-работницы, обольщенной светским фатом, но сохраняющей, наперекор «общественному мнению», благородство и силу духа, Гаскелл пришлось, как она писала золовке, «распроститься со всеми

своими респектабельными друзьями»; она стала предметом стольких нападков, что сравнивала себя со «святым Себастьяном, привязанным к дереву как мишень для стрел». Даже в ее собственном доме эта книга была под запретом для ее взрослых дочерей; двое из прихожан ее мужа сожгли ее роман; третий запретил жене читать его. «Мы сидим с ними рядом в церкви, и вы не можете себе представить, какой «неприличной» я чувствую себя под их взглядами», — писала Гаскелл.

Ее глубокой, чуткой, богато одаренной натуре было тесно в стенах, пасторского дома и среди манчестерских коммерсантов и дельцов, составлявших наиболее влиятельную часть прихожан ее мужа. Гаскелл приходилось встречаться и с людьми иной породы и закалки — с манчестерскими рабочими; в «Мэри Бартон» и в позднейшем романе «Север и Юг» (1855) она отдала должное их независимому уму и твердому характеру. Но ее попытки вмешаться в их» тяжкую жизнь не могли быть плодотворны: скромная частная филантропия, как бы самоотверженно (что видно по ее письмам) ни занималась ею Гаскелл, не могла существенно изменить положения рабочих и перебросить мост между «двумя нациями», на которые была расколота Англия.

Гаскелл добросовестно исполняла свои обязанности, даже когда они входили в противоречие с ее творческими интересами. Сообщения о ходе работы над новой книгой переплетаются в ее письмах с досадливыми упоминаниями о хозяйственных хлопотах: о коровнике и птичьим дворе (Гаскеллы и в Манчестере держали корову, свиней и домашнюю птицу), о кройке белья для четырех дочек, о расчетах с прислугой, о ремонте канализации. Иной» раз она с явным раздражением пишет об этих «каждодневных лилипутских стрелах мелочных забот», от которых пытается уйти в «тайный мир искусства». В других случаях ее письма проникнуты чувством глубочайшей усталости. Характерно одно из писем к издателю, написанное за полгода до смерти, когда она работала над своим последним романом — «Жены и дочери» (1865), который ей не суждено было окончить: «Дорогой мистер Смит, написано, кажется, около 870 стр., ...но трудно определить. Роман мог бы быть и длиннее, мне есть еще что сказать; но, ах! Я так устала, вытягивая пряжу из моего мозга, а чувствую себя совсем не хорошо. Впрочем, что мой мозг по сравнению с вашим!.. Я ненавижу интеллект, и литературу, и изящные искусства, и математику! Я начинаю думать, что на том свете святой Петр запретит все книги и газеты; а все развлечения будут состоять только в том, чтобы кататься в коляске в Харроу и вечно лакомиться земляникой со сливками».

В последние годы жизни она лелеяла план вырваться из Манчестера,

обзавестись загородным домиком где-нибудь на приволье, в одном из еще не тронутых уголков старой «зеленой Англии», После многих хлопот и волнений, — план этот был задуман втайне от мистера Гаскелла и мог быть осуществлен только ценой строжайшей экономии и в счет будущих, еще не заработанных гонораров, — желанный приют под уютным названием «Лужайка», по соседству с «прелестной патриархальной деревушкой» в Хемпшире (таком же сельскохозяйственном графстве, как и ее родной Чешир), был облюбован, куплен и обставлен. Гаскелл уже писала друзьям о сенокосах, которыми славятся окружающие ее домик луга, о том, сколько яблок уродилось в ее саду... 12 ноября 1865 года она приехала туда вместе с двумя дочерьми и зятем — и скоропостижно скончалась в кругу семьи за чадным столом во время первого чаепития на новоселье. Писательницу похоронили в ее любимом Натсфорде: только так смог в действительности осуществиться задуманный ею побег в милый сердцу Крэнфорд ее мечты.

Но «Крэнфорд», написанный ею двенадцатью годами ранее, надолго пережил свою создательницу и прочно вошел в английскую литературу как один из ее классических памятников. Призвание нескольких сменившихся поколений читателей доказало жизненность светлого юмора и сердечной теплоты, пронизывающих эту книгу, среди первых ценителей которой были Диккенс и Теккерея, Рескин и Шарлотта Бронте.

«Крэнфорд» продолжает и сейчас оставаться в странах английского языка одной из самых популярных книг Гаскелл. А недавно обнародованное эпистолярное наследие писательницы (полное собрание ее писем было впервые издано в 1967 г.) показало, как глубоко и органично связана эта книга с личной биографией Гаскелл, со всем ее творчеством и с ее взглядами на искусство и жизнь.

«Крэнфорд» был впервые напечатан отдельными выпусками в журнале Диккенса «Домашнее чтение» («Household Words»), с декабря 1851 по май 1853 года. С этим связана своеобразная композиция книги, состоящей из полутора десятков сравнительно самостоятельных, обособленных глав. Первоначально писательница предполагала ограничиться одним-двумя юмористическими очерками крэнфордских нравов. Диккенсу удалось убедить ее продолжить свою работу и развить свои наброски в целую повесть. Впоследствии Гаскелл жалела о том, что, не предусмотрев этого расширения «Крэнфорда», слишком рано рассталась с одним из дорогих ей героев, капитаном Брауном: погибнув под колесами поезда во второй главе, он уже не мог быть воскрешен к жизни в дальнейшем.

Повесть «Крэнфорд» была, пожалуй, самой «диккенсовской» из всех

книг Гаскелл. С мягким, дружелюбным юмором писательница изображает маленький старосветский провинциальный мирок крэнфордских «амазонок». Это определение сразу же, с первых строк «Крэнфорда», вызывает улыбку читателя: так безобидна воинственность почтенных «героинь» Гаскелл даже тогда, когда они ратуют со всем пылом добродетели, уверенной в непогрешимости своего вкуса и неколебимости нравственного авторитета, за то, что считают непререкаемой истиной (именно так, например, отстаивает мисс Дебора Дженкинс преимущества сочинений несравненного доктора Сэмюэла Джонсона перед легкомысленными писаниями некоего «Боза» (Диккенса), летописца «Пиквикского клуба»).

С произведениями Диккенса роднят «Крэнфорд» и сказочные мотивы, озаряющие вспышками бенгальского огня будни повседневного существования. Майор Гордон, как сказочный принц, вовремя возвращается к своей суженой, осиротевшей Золушке, Джесси Браун. К возвращению на родину другого скитальца, Питера Дженкинса, примешивается прямое «колдовство», — ведь только благодаря появлению в Крэнфорде загадочного чужеземного мага и волшебника «синьора Брунони» (английского сержанта Сэма Брауна, научившегося своим трюкам у индийских фокусников) Мэри Смит удалось узнать заморский адрес «аги Дженкинса» и вызвать его на родину. А сам «ага Дженкинс», чьи фантастические рассказы о его похождениях на Востоке могли бы посрамить даже барона Мюнхгаузена, — разве не кажется он с его загадочным прошлым и экзотическими привычками сказочным персонажем, сошедшим со страниц «Тысяча и одной ночи»? В этом кружке простодушных энтузиастов ему прощают все нарушения этикета и верят всем его небылицам — даже кощунственному рассказу о том, как, охотясь на Гималаях, он невзначай подстрелил херувима! (Прошло полвека, и Герберт Дж. Уэллс сделал эту фантастическую ситуацию — с той разницей, что в его романе ангел подстрелен не сыном священника, а самим священником, — исходным пунктом своей сатирической аллегории «Удивительное посещение», 1895 г.) И уж совсем по-диккенсовски выглядит эпизод закрытия скромного торгового заведения мисс Мэтти Дженкинс, ознаменованный сказочными щедротами ее брата: стоя у окна ее маленькой гостиной, он осыпает толпу крэнфордских ребятишек целым дождем конфет и леденцов.

Само время течет здесь по особым законам, так медленно, что можно заподозрить, не приостанавливается ли оно иногда на длительный срок. Недолгое царствование короля Вильгельма IV (1830–1837) и его супруги

королевы Аделаиды здесь, в Крэнфорде, кажется продолжается бесконечно. Во второй главе повести злополучный капитан Браун перед смертью читает свежий выпуск «Записей Пиквикского клуба» (1836), что позволяет наметить исходный хронологический пункт действия. Но проходят годы. Младшая дочь капитана, мисс Джесси Браун, успевает выйти замуж и вырастить детей; ее дочка Флора гостит у старой мисс Дженкинс и украдкой читает «Рождественскую песнь в прозе» (1843) Диккенса вместо очерков доктора Джонсона; наконец умирает и мисс Дженкинс, проходят еще годы, а королева Аделаида продолжает оставаться законодательницей мод крэнфордских дам, и самым элегантным рукоделием в их кругу по-прежнему считаются «верноподданнические» вышивки шерстью по канве, воспроизводящие ее портрет, — как будто бы никто не слышал о восшествии на престол в 1837 году юной королевы Виктории! Да, в этом мире время замедляет свой бег, и простодушная мисс Мэтти навсегда остается для ее седовласого брата «малюткой Мэтти», сколько бы зим и лет ни пронеслось над ее головой.

По сравнению с Диккенсом юмор Гаскелл в «Крэнфорде», однако, мягче и сдержаннее. В ее изобразительной манере преобладают спокойные полутона, а не резкие штрихи, смелые гиперболы и диссонансы, характерные для диккенсовского гротеска. Святочное веселье Дингли-Делла, в котором Диккенс воплотил свой идеал патриархальной старосветской Англии, показалось бы слишком шумным и буйным чопорным и робким обитательницам Крэнфорда. Диккенсовская мисс Бетси Тротвуд (из «Давида Копперфилда») смутила бы своею воинственностью и эксцентричностью смиренных «амазонок» Гаскелл.

Это не значит, однако, что «Крэнфорд» посвящен всецело «кружевам и лаванде», — и Артур Поллард, один из лучших современных английских знатоков наследия Гаскелл, справедливо оспаривает эту точку зрения, которая возможна лишь при очень поверхностном восприятии повести. Забавные и трогательные мелочи «старосветского» быта в «Крэнфорде» подчинены общей идее, выраженной писательницей не назойливо, но достаточно ясно для вдумчивого читателя.

Анна Теккерей-Ритчи, автор предисловия к «Крэнфорду», была права, уловив в этой повести глубоко скрытые отголоски «Мэри Бартон». Как ни замкнут в своем захолустном уединении маленький мирок добродушных крэнфордских «амазонок», он составляет часть большого мира индустриальной и коммерческой Англии и должен по-своему реагировать на его проблемы. Город Драмбл (звукоподражательное вымышленное название которого передает одновременно и грохот, и стук, и толчею

огромного промышленного и торгового центра, в котором угадывается Манчестер) недаром многократно упоминается в повести уже начиная с первой страницы. В Драмбл уже протянулась проходящая через тихий Крэнфорд дорога — та самая «мерзкая железная дорога», где служил и погиб бедный капитан Браун.

Отсюда, из Драмбла, приезжает в Крэнфорд в качестве частой и желанной гостьи, но в то же время и сторонней наблюдательницы рассказчица, от лица которой идет повествование — «чопорная малютка Мэри» Смит, в которой нетрудно угадать двойника самой Элизабет Гаскелл. Ее роль в сюжетном движении повести кажется довольно скромной. Но ее особый, личный угол зрения придает изложению эмоциональную выразительность, усиливая то сентиментально-лирические, то комические оттенки в изображений происходящего. Присутствие этого незаметного, но зоркого соглядатая позволяет читателям увидеть крэнфордский мирок таким, каков он есть на самом деле, но каким он сам себя не видит, — со всеми абсурдными, смешными, а вместе с тем и трогательными подробностями его существования.

Именно благодаря присутствию Мэри Смит в повесть органически включается столь важное для общего замысла Гаскелл критическое сопоставление двух различных систем социально-этических критериев и ценностей жизни — системы делового, коммерческого Драмбла и старомодного захолустного Крэнфорда. Это сопоставление, незаметно подготовляемое всем ходом повести, достигает наибольшей драматической остроты в главе XIII, рассказывающей о катастрофе, постигшей бедную беспомощную мисс Мэтти Дженкинс в связи с крахом Городского и сельского банка в Драмбле, куда было вложено все ее скромное состояние.

Мисс Мэтти разорена. Но ее больше всего мучит не мысль о собственной одинокой нищей старости, а горестное убеждение в том, что, как одна из акционерок и пайщиц банка, она ответственна за все те несчастья, какие принесло прекращение платежей ее соседям — горожанам и фермерам. Едва услышав в лавке о крахе банка, она — обычно столь нерешительная и несмелая — стремительно следует своему первому побуждению и отдает пять полновесных золотых соверенов из своего кошелька фермеру, у которого приказчик отказывается принять банкноту лопнувшего предприятия.

С точки зрения здоровой манчестерской политической экономии это, конечно, поступок столь же безграмотный, сколь и бесполезный, и Гаскелл это знает. Но по другому, человеческому счету мисс Мэтти права, последовав своему безотчетному сердечному порыву. И Мэри Смит готова

откусить себе язык, едва у нее сорвался естественный для жительницы Драмбла саркастический вопрос: уж не собирается ли мисс Мэтти обменивать на соверены все обесцененные банкноты Городского и сельского банка?

Мисс Мэтти, конечно, и не могла бы этого сделать. Но, следуя гуманной утопической традиции, столь сильной в английском реалистическом социальном романе ее времени, Гаскелл показывает, как круговая порука бедноты согревает одинокую старость этой разоренной, беспомощной женщины. Ее приятельницы делятся последними крохами, чтобы в складчину тайком обеспечить ей кусок хлеба. А служанка Марта берется бесплатно заботиться о ней даже после того, как выйдет замуж и обзаведется своей семьей... Мораль книги в этих главах настолько ясна, что упоминание Мэри Смит о значительных денежных потерях, понесенных в Драмбле ее отцом — опытным коммерсантом, несмотря на все его предосторожности, кажется излишним.

Мотив «донкихотства» естественно возникает на страницах «Крэнфорда» — как возникает он и у Диккенса и у Теккерея, если говорить только о современниках Гаскелл. Мэри Смит сравнивает с Дон-Кихотом старого оригинала, фермера Холбруна, бывшего суженого мисс Мэтти, которого она против воли отвергла, подчинившись настояниям тщеславной родни. Оставшись до конца дней старым холостяком, он тратит неизрасходованные запасы нежности на любовь к родной природе и поэзии, о которой судит, как самоучка, но с пониманием и вкусом. Альфред Теннисон — его последнее предсмертное увлечение...

У мисс Мэтти нет этих ресурсов: семейная Библия и «Словарь» доктора Джексона, которым она дорожит в память старшей сестры, составляют всю ее библиотеку. Но ее подавленное материнское чувство прорывается в застенчивой нежности, с какой она относится ко всем ребятишкам, нуждающимся в ее заботе. Как старательно обматывает она пестрой шерстью мячик, предназначенный в подарок маленькой Фебе, больной дочке злополучного странствующего факира, «синьора Брунони»! Как безрассудно нерасчетлива она со своими маленькими покупателями, которым неизменно отпускает, себе в убыток, лишнюю конфету «для довеска»: «Эти крошки так их любят!» И как бережно нянчит она уже слишком тяжелую для ее слабых старческих рук дочурку своей преданной служанки Марты, другую маленькую Мэтти, названную так в честь своей крестной матери.

Теккерей, вероятно, язвительно осмеял и осудил бы снобизм старого священника Дженкинса и его педантичной старшей дочери Деборы,

отнявших у бедной мисс Мэтти то личное счастье, для которого она была создана самой природой. Гаскелл предоставляет судить об этом своим читателям. Мотив несбывшихся возможностей, столь характерный для литературы критического реализма, звучит и в «Крэнфорде». Но элегичность этой повести (отмечаемая, например, Артуром Поллардом) умеряется ее юмором. Трудно согласиться с мнением Полларда, который, высоко ценя «Крэнфорд», находит, что это — «книга стариков», книга «без будущего».

Кругозор Элизабет Гаскелл был слишком широк, ее общественные интересы и симпатии слишком многообразны, чтобы она могли замкнуться в сентиментальном созерцании уходящего в прошло, мира милых, старомодных чудаков и чудачек, запечатленного в «Крэнфорде». «Младая жизнь» тянется к солнцу и здесь. В том по видимости безличном повествовательном «мы», каким так часто пользуется Мэри Смит, развертывая свою хронику крэнфордских нравов, обычаев и происшествий, сквозит между строк и легкая ирония: юная рассказчица не забывает о том, что принадлежит все-таки к совсем другому поколению и смотрит на жизнь иначе, чем мисс Мэтти и ее почтенные приятельницы.

«Живая, выразительная, энергичная, мудрая», — а вместе с тем «добрая и снисходительная» книга — так оценила «Крэнфорд» Шарлотта Бронте в своем письме к Гаскелл. Этот отзыв, принадлежащий талантливой писательнице-реалистке, прошедшей суровую жизненную школу и несклонной к сентиментальности, сохраняет свое значение и поныне.

*А. Елистратова*



# ГЛАВА I

## НАШЕ ОБЩЕСТВО

Начнем с того, что Крэнфордом владеют амазонки: если плата за дом превышает определенную цифру, в нем непременно проживает дама или девица. Когда в городе поселяется супружеская пара, глава дома так или иначе исчезает; либо он до смерти пугается, обнаружив, что он — единственный мужчина на всех званых крэнфордских вечерах, либо его полк расквартирован где-то далеко, а корабль ушел в плавание, или же он всю неделю проводит, занимаясь делами, в большом торговом городе Драмбле, до которого от Крэнфорда всего двадцать миль по железной дороге. Короче говоря, какова бы ни была судьба мужей, в Крэнфорде их не видно. Да и что бы они там делали? Врач совершает свой тридцатимильный объезд больных и ночует в Крэнфорде, но каждый мужчина ведь не может быть врачом. А для того чтобы содержать аккуратные садики в образцовом порядке и выращивать на клумбах чудесные цветы без единого сорняка, чтобы отпугивать мальчуганов, которые жадно взирают на вышеупомянутые цветы сквозь садовую решетку, чтобы прогонять гусей, иной раз забирающихся в сад, если калитка останется открытой, чтобы разрешать все спорные вопросы литературы и политики, не затрудняя себя доказательствами и логикой, чтобы получать верные и обстоятельные сведения о делах всех и каждого в приходе, чтобы муштровать своих чистеньких служанок, чтобы благодетельствовать (довольно-таки деспотично) бедняков и с искренней добротой помогать друг другу в беде — для всего этого крэнфордским дамам помощники не нужны, они отлично справляются сами. «Мужчина в доме, — как-то сказала одна из них, — очень мешает!» Хотя каждая крэнфордская дама знает о делах своих приятельниц все, мнение этих приятельниц ее совершенно не трогает. Более того: поскольку каждой из них свойственно значительное своеобразие, характера, чтобы не сказать — чудачество, то словесное воздаяние никого из них не затруднило бы, но почему-то они по большей части живут в самом благожелательном согласии.

Лишь иногда между крэнфордскими дамами вспыхивают небольшие ссоры, которые разрешаются несколькими колкостями и сердитым вздергиванием подбородка — как раз достаточно, чтобы их тихая жизнь не

стала совсем уж пресной. Платья их ничуть не зависят от моды. «Что за важность, — говорят они, — как мы одеты в Крэнфорде, где нас все знают?» А если они уезжают куда-нибудь еще, этот довод остается столь же веским: «Что за важность, как мы одеты здесь, где нас никто не знает?» Платья их обычно сшиты из добротной, хотя и простой ткани, и никто не мог бы выглядеть опрятней этих дам, однако ручаюсь, что последние в Англии рукава с широким буфом, последнюю узкую и простую юбку можно было видеть именно в Крэнфорде, и там они ни у кого не вызывали улыбки.

Я не раз собственными глазами видела великолепный семейный зонтик из красного шелка, под которым кроткая старая дева, последняя из многочисленных братьев и сестер, семенила в церковь, если день был дождливым. А у вас в Лондоне есть красные шелковые зонтики? Первый зонтик, появившийся в Крэнфорде, стал местной легендой; мальчишки толпами бегали за ним и называли его «фижмы на палочке». Быть может, он и был тем красным шелковым зонтиком, о котором я упомянула, но тогда его держал над своим малолетним потомством молодой сильный отец. Бедная старушка, единственная оставшаяся в живых из всей семьи, поднимала его с большим трудом.

Визиты наносились и отдавались согласно со строгими правилами и установлениями, и молодым девицам, гостившим в городке, эти правила возвещались с той же торжественностью, с какой древние законы острова Мэн<sup>[2]</sup> раз в год читались вслух на горе Тинуолд.

— Наши друзья прислали узнать, как вы себя чувствуете после дороги, милочка (пятнадцать миль в железнодорожном вагоне). Они дадут вам отдохнуть завтра, но послезавтра, конечно, заедут к нам, так что после двенадцати будьте, пожалуйста, свободны — с двенадцати до трех мы дома и принимаем.

И далее, когда визит уже нанесен:

— Сегодня третий день. Ваша маменька, наверное, говорила вам, милочка, что визиты полагается отдавать не позже чем через три дня и что оставаться дольше пятнадцати минут не следует.

— Но разве можно в гостях смотреть на свои часы? А как иначе я узнаю, что пятнадцать минут уже прошли?

— Вы должны все время думать о времени, милочка, не забывая про него, как бы вас ни занимал разговор.

Так как, нанося и отдавая визиты, все твердо помнили это правило, то ни о чем интересном, разумеется, никто никогда не разговаривал. Мы обменивались короткими фразами на общепринятые темы и вставляли,

чтобы проститься, ровно через пятнадцать минут.

Полагаю, что некоторые из благородных обитательниц Крэнфорда были бедны и лишь с трудом сводили концы с концами, но, подобно спартамцам, они прятали свои страдания за улыбками. Мы никогда не говорили о деньгах, так как эта тема имела привкус торговли и ремесла, а мы, включая самых бедных, все были аристократичны. В крэнфордском обществе царил благодетельный *esprit de corps*,<sup>[3]</sup> и если чьи-либо усилия скрыть свою бедность не увенчивались полным успехом, никто не замечал их тщетности. Когда, например, миссис Форрестер дала званый чай в своем кукольном домике и девочка-служанка попросила сидящих на диване дам привстать, чтобы она могла вытащить из-под него чайный поднос, все приняли подобное новшество как нечто совершенно естественное и продолжали беседовать о домашнем этикете и церемониях так, словно мы все верили, будто в доме нашей хозяйки есть половина для слуг, где за столом председательствуют экономка и дворецкий, и она не обходится одной девочкой из приюта, чьи маленькие красные ручонки не донесли бы поднос наверх без помощи самой миссис Форрестер, которая сейчас восседала в парадном туалете, делая вид, что не имеет ни малейшего представления о том, каким печеньем собирается угостить нас повар, хотя она знала, и мы знали, и она знала, что мы знаем, и мы знали, что она знает, что мы знаем, что она все утро пекла чайные хлебцы и пирожки из пресного теста.

У этой всеобщей, хотя и непризнанной бедности и всеми весьма признаваемой аристократичности были два-три отнюдь не лишние следствия, которые могли бы принести пользу любым кругам общества. Например, обитатели Крэнфорда рано ложились спать и в девять часов уже семенили домой в своих деревянных калошках под охраной служанки с фонарем, а к половине одиннадцатого весь город тихо отходил ко сну. Кроме того, подавать на вечерних приемах какие-либо дорогие напитки или кушанья считалось «вульгарным» (слово, которое в Крэнфорде обладало невероятной силой). Тончайшие ломтики хлеба, чуть-чуть смазанные маслом, и маленькие бисквиты — вот все, что предлагала своим гостям высокородная миссис Джеймисон, а она, хотя и практиковала столь «элегантную экономность», была невесткой покойного графа Гленмайра.

«Элегантная экономность»! Как легко и естественно впадаешь во фразеологию Крэнфорда! Там экономия всегда была «элегантной», а денежные траты — «вульгарной чванливостью», и эта убежденность в том, что виноград-то зелен, несла нам всем душевный покой и умиротворенность. Никогда не забуду, какой ужас и смущение вызвал

некий капитан Браун, который, поселившись в Крэнфорде, во всеуслышанье заявил, что он беден, — и не шепотом ближайшему другу, предварительно заперев все окна и двери, а посреди улицы! Громким военным голосом, ссылаясь на свою бедность, как на причину, почему он не снял вот этот дом! Крэнфордские дамы и так уже скорбели из-за того, что в их владения вторгся мужчина и джентльмен. Он был капитаном в отставке и получил место на железной дороге, против строительства которой городок слал негодующие петиции; и если вдобавок к своему мужскому роду и к связи с омерзительной железной дорогой он еще имел бесстыдство рассказывать о своей бедности, обществу оставалось только одно — повернуться к нему спиной и подвергнуть его бойкоту. Смерть столь же реальна и обычна, как бедность, и все же люди никогда не кричат о ней на улицах. Это слово не должно оскорблять благородный слух. Мы безмолвно согласились не замечать, что кто-то из тех, с кем мы обмениваемся визитами, поступает так, а не иначе, из-за бедности, а не по собственному выбору. Если кто-то приходил на званый вечер пешком и возвращался домой тем же способом, причина заключалась в том, что вечер был так пленителен или свежий воздух был так приятен, а вовсе не в том, что портшез обошелся бы слишком дорого. Если летом мы ходили в ситце, а не в легких шелках, то потому лишь, что предпочитали материи, которые легко стираются. И так далее и тому подобное, пока мы совершенно не перестали замечать тот вульгарный факт, что мы — все мы — располагаем лишь весьма скромными средствами. Вот почему мы не были способны понять, как мужчина может говорить о бедности так, словно в ней нет ничего позорного. И тем не менее капитан Браун каким-то образом заставил себя уважать, и вопреки твердо принятому решению Крэнфорд начал делать ему визиты. Когда примерно через год после его переезда в Крэнфорд я гостила там, я с удивлением услышала, что его мнения цитируются и на него ссылаются как на непререкаемый авторитет. Всего двенадцать месяцев назад мои собственные друзья решительно высказались против каких бы то ни было визитов к капитану и его дочерям, а теперь его как-то приняли даже в запретные утренние часы до полудня. Правда, он должен был разобраться, почему дымит труба, а для этого ему нужно было, осмотреть ее раньше, чем затопят камин, но, как бы то ни было, капитан Браун бестрепетно поднялся наверх, говорил голосом, слишком могучим для маленькой гостиной, и шутил, как шутят ручные, домашние мужчины. С самого начала он не замечал легких знаков пренебрежения и некоторых упущений в обычном церемониале, с какими его встречали. Он держался дружески, хотя крэнфордские дамы были с ним

холодны, принимал за чистую монету их саркастические комплименты и бравым прямодушием развеивал брезгливое недоумение, которое вызывал, как человек, не стыдящийся быть бедным. И в конце концов его превосходный мужской здравый смысл и способность изыскивать средства для разрешения всяческих домашних трудностей завоевали ему среди крэнфордских дам положение непререкаемого авторитета. И он продолжал жить по-прежнему, так же не замечая своей новой популярности, как не замечал былой антипатии, и я не сомневаюсь, что он был ошеломлен, когда однажды ему пришлось убедиться, насколько высоко ценится его мнение: совет, который он дал в шутку, был воспринят вполне серьезно и свято выполнен.

Дело было так. Одна из старых дам имела олдернейскую корову, которую любила, как родную дочь. Даже во время кратких пятнадцатиминутных визитов вы успевали выслушать какую-нибудь историю об изумительном молоке или изумительной разумности этого животного. Весь городок был знаком с коровой мисс Бетси Баркер и питал к ней самую теплую симпатию, а потому велико было всеобщее огорчение и сочувствие, когда бедняжка по неосторожности свалилась в яму с негашеной известью! Она мычала так громко, что ее почти сразу же услышали и спасли, но тем не менее она успела лишиться чуть ли не всей своей шерсти, и когда ее извлекли из ямы, она уже совсем облезла и дрожала от холода. Все жалели несчастную корову, хотя кое-кто и не мог сдержать улыбки — таким нелепым был ее голый вид. Мисс Бетси Баркер плакала от горя и отчаяния, и говорили, что она уже хотела было устроить корове масляную ванну. Наверное, такое средство рекомендовал ей кто-нибудь из тех, к кому она обращалась за советом, но этому плану, если что-либо подобное и предполагалось, положил конец капитан Браун, заявив решительно:

— Если вы хотите, чтобы она не сдохла, сударыня, то обрядите ее во фланелевую кофту и панталоны. Но я бы вам посоветовал сразу зарезать бедную скотину, чтобы она не мучилась.

Мисс Бетси Баркер осушила слезы и от души поблагодарила капитана; она взялась за работу, и вскоре весь городок высыпал на улицы посмотреть, как олдернейская корова кротко шествует на пастбище в одеянии из темно-серой фланели. Я сама много раз любовалась ею в этом наряде.

А вы в Лондоне когда-нибудь видели коров, одетых в серую фланель?

Капитан Браун снял небольшой домик на окраине городка, где и поселился с двумя своими дочерьми. Когда я впервые побывала в Крэнфорде после того, как перестала там жить постоянно, ему было за

шестьдесят. Но он выглядел гораздо моложе, так как благодаря каждодневным упражнениям сохранил крепость и гибкость фигуры, голову держал высоко, на военный манер, а походка у него была бодрой и упругой. Старшая дочь казалась почти его ровесницей, и это выдавало, что на самом деле он много старше, чем кажется. Мисс Браун было, наверное, лет сорок. Лицо ее хранило болезненное, обиженное, измученное выражение, и его юная веселость давным-давно исчезла без следа. Впрочем, и в молодости она, вероятно, была некрасива и ее черты отличались резкостью. Мисс Джесси Браун была на десять лет моложе сестры и в двадцать раз милее. На ее округлом лице играли ямочки. Мисс Дженкинс, гневаясь на капитана Брауна (о причине этого гнева я вскоре вам расскажу), как-то объявила, что, по ее мнению, «мисс Джесси уже пора бы отказаться от ямочек и не притворяться ребенком». Действительно, в ее лице было что-то детское, и я убеждена, что таким оно и останется, доживи она хоть до ста лет. У нее были большие голубые удивленные глаза, которые всегда смотрели прямо на вас, нос чуть курносый, а губы алые и свежие. Ее манера завивать волосы в мелкие локоны еще усиливала это общее впечатление. Не могу сказать, была ли она хорошенькой или нет, но мне нравилось ее лицо, как оно нравилось всем, и, по-моему, над своими ямочками она была не властна. Ее походку и манеры отличала та же бодрость, какой дышала внешность ее отца, и женский глаз без труда подметил бы легкое различие в одежде сестер — а именно, что туалеты мисс Джесси обходились на два фунта в год дороже, чем туалеты мисс Браун. Два же фунта были значительной суммой в годовом бюджете капитана Брауна.

Вот какое впечатление произвели на меня Брауны, когда я впервые увидела их всех вместе в крэнфордской церкви. С капитаном я уже успела познакомиться — благодаря дымящему камину, который он без труда исцелил, поправив что-то в трубе. В церкви во время утреннего гимна он держал у глаз лорнет, а затем высоко поднял голову и запел громко и радостно. Он отвечал священнику громче, чем причетник, дряхлый старичок с пискливым голосом; причетнику, мне кажется, очень досаждал звучный бас капитана, а потому он сам отвечал на все более и более высоких и дребезжащих нотах.

Выходя из церкви, энергичный капитан весьма галантно опекал своих дочерей. Он кивал и улыбался всем знакомым, но не пожал ничьей руки до тех пор, пока не помог мисс Браун раскрыть зонтик, не взял у нее молитвенник и не подождал терпеливо, чтобы она дрожащими нервными пальцами подобрала юбки, готовясь идти по сырому тротуару.

Мне было очень любопытно, что делают крэнфордские дамы с

капитаном Брауном на своих приемах. В былые дни мы часто радовались вслух, что на карточных вечерах можно не заботиться о том, чем занять джентльменов и не подыскивать темы для беседы с ними. Мы поздравляли друг друга с тем, что все так уютно и мило, а наша любовь к элегантности и неприязнь к мужской половине рода человеческого почти убедила нас в том, что быть мужчиной — «вульгарно». А потому, когда я узнала, что мой добрый друг мисс Дженкинс, у которой я гостила, намерена дать в мою честь званый вечер и пригласила на него капитана и обеих мисс Браун, я долго терялась в догадках, стараясь представить себе, как все это будет происходить. Как обычно, карточные столики с зеленым суконным верхом были приготовлены еще при дневном свете — шла третья неделя ноября, а потому смеркаться начинало уже в четыре часа. На столики были поставлены свечи и положены чистенькие колоды карт. Камин был затоплен, аккуратно одетой служанке были даны последние наставления, и мы, в парадных платьях, стояли с бумажными жгутиками в руках, готовые кинуться к свечам, чтобы зажечь их, едва раздастся первый стук в дверь. Званые вечера в Крэнфорде всегда были весьма торжественными, и дамы, сидя друг возле друга в парадных туалетах, испытывали умиротворенную радость. Едва явились три первые гости, их усадили за преферанс, и мне волей-неволей пришлось сесть четвертой. Следующие четыре гости тотчас были посажены за другой столик, и вскоре на середине всех карточных столиков были установлены чайные подносы, которые я утром заметила в кладовой, когда проходила мимо. Чашечки были из тончайшего фарфора, старинное начищенное серебро ослепительно блестело, но угощение было очень и очень легким. Капитан Браун и его дочери вошли, когда подносы еще не были убраны. Я без труда заметила, что капитан пользуется большим расположением всех присутствующих дам. С его появлением наморщенные лбы разгладились, резкие голоса зазвучали тише. Мисс Браун выглядела больной и унылой, далее мрачной. Мисс Джесси улыбалась, как обычно, и, по-видимому, была всеобщей любимицей, почти как ее отец. Он же тотчас спокойно взял на себя роль всеобщего кавалера: следил, не нужно ли кому-нибудь чего-нибудь, и облегчал труд хорошенькой служанки, принимая пустые чашки и передавая хлеб с маслом тем дамам, которые его еще не отведали. Все это он проделывал с непринужденным достоинством, словно выполняя долг сильного, опекающего слабых, — как и положено истинному мужчине. Он играл по маленькой с таким сосредоточенным интересом, словно речь шла не о пенсах, а о фунтах, и тем не менее, как ни был он внимателен с посторонними, он все время следил за своей больной дочерью — я

убеждена, что она действительно испытывала физические страдания, хотя многие сочли бы это беспричинной раздражительностью. Мисс Джесси не играла в карты, но она развлекала беседой тех, кто пропускал партию и до ее появления был склонен дуться. Кроме того, она пела, аккомпанируя себе на стареньком разбитом фортепьяно, которое, по-моему, в дни своей юности было спинетом. Мисс Джесси спела «Джок из Хейзелдина»,<sup>[4]</sup> немного фальшивя, но никто из нас не отличался особой музыкальностью, хотя мисс Дженкинс, чтобы доказать тонкость своего слуха, и отбивала такт не в такт.

Со стороны мисс Дженкинс было очень любезно отбивать такт, ибо я заметила, что незадолго перед этим ее весьма оскорбило неосторожное упоминание мисс Джесси Браун (а ргорос<sup>[5]</sup> о шетландской шерсти) о том, что ее дядя, брат ее матери, держит в Эдинбурге лавку. Мисс Дженкинс попыталась заглушить это признание страшнейшим кашлем, ибо высокородная миссис Джеймисон сидела за карточным столиком, ближайшим к мисс Джесси, — что она сказала бы или подумала бы, обнаружив, что в одной комнате с ней находится племянница лавочника! Однако мисс Джесси Браун (совсем лишенная тактичности, как мы все согласились на следующее утро) все-таки довела этот факт до сведения всего общества, громогласно пообещав мисс Пул шерсть требуемого оттенка, которую она достанет без всяких хлопот: «Ведь у моего дяди наилучший выбор шетландских товаров во всем Эдинбурге». И мисс Дженкинс попросила ее спеть только для того, чтобы эти ужасные слова перестали звучать в наших ушах, а потому, повторяю, со стороны мисс Дженкинс было весьма любезно отбивать такт.

Когда точно без четверти девять подносы вновь появились с сухариками и вином, началась беседа: сравнивались сдачи, обсуждались взятки, но затем капитан Браун заговорил на литературную тему.

— Кто-нибудь из вас читал выпуски «Пиквикских записок»? — спросил он (как раз в то время «Записки Пиквикского клуба»<sup>[6]</sup> выходили отдельными выпусками). — Превосходная вещь!

Мисс Дженкинс, следует сказать, была дочерью покойного крэнфордского священника, и, как наследница многочисленных рукописных проповедей, а также очень недурной богословской библиотеки, считала себя причастной литературе, и в любом упоминании о книгах видела брошенный ей вызов. А потому она ответила, что она их видела и, можно даже сказать, читала.

— И как они вам понравились? — воскликнул капитан Браун. — Не



правда ли, отлично написано?

После такого вопроса мисс Дженкинс не могла не высказать своего мнения:

— Должна признаться, на мой взгляд, они никак не могут идти в сравнение с тем, что писал доктор Джонсон.<sup>[7]</sup> Но, с другой стороны, автор, возможно, еще молод. Если он будет усерден и если он возьмет себе за образец великого доктора, кто знает, чего он сможет достичь?

По-видимому, капитан Браун был не в силах снести это молча, и я заметила, что он лишь с трудом удержался, чтобы не перебить мисс Дженкинс.

— Но ведь это же вещь совсем иного рода, сударыня... — начал он.

— Я прекрасно это понимаю, — прервала она, — и сужу без особой строгости, капитан Браун.

— Разрешите, я прочту вам сцену из последнего выпуска, — умоляюще сказал он. — Я получил его только сегодня утром и полагаю, общество еще не успело его прочесть.

— Как вам угодно, — ответила она с видом покорности судьбе, и капитан прочел описание «суарея», который Сэм Уэллер устроил в Бате. Кое-кто из дам весело смеялся, однако я не посмела последовать их примеру, так как гостила у мисс Дженкинс. Мисс Дженкинс сидела в терпеливом безмолвии. Когда капитан кончил, она повернулась ко мне и сказала с кротким достоинством:

— Милочка, принесите мне из библиотеки «Расселаса».

Когда я подала ей требуемую книгу, она повернулась к капитану Брауну:

— А теперь разрешите мне прочесть одну сцену вам, и тогда общество сможет сделать выбор между вашим любимцем, мистером Бозом, и доктором Джонсоном.

Величавым визгливым голосом она прочла один из разговоров между Расселасом и Имлаком, а кончив, сказала:

— Мне кажется, я достаточно оправдала предпочтение, которое я оказываю доктору Джонсону как беллетристу.

Капитан сложил губы в трубочку, забарабанил пальцами по столу, но ничего не ответил. Она решила нанести еще один-два завершающих удара.

— Я считаю, что публиковаться выпусками — это вульгарно и унижает достоинство литературы.

— А как выходил «Рассеянный», сударыня? — осведомился капитан Браун, но так тихо, что, мне кажется, мисс Дженкинс не могла расслышать этих слов.

— Стиль доктора Джонсона — образец для начинающих авторов. Мой отец рекомендовал его мне, когда я начала писать письма, и на нем я сформировала мой собственный стиль; рекомендую его и вашему любимцу.

— Мне было бы очень жаль, если бы он сменил свой стиль на подобную напыщенность, — сказал капитан Браун.

Мисс Дженкинс сочла это личным оскорблением, хотя капитану такая идея и в голову не могла прийти. Она и ее друзья считали, что в эпистолярном жанре она блистает. Сколько, раз видела я, как черновик ее письма переписывался и исправлялся, прежде чем она «улучала минутку перед самой отправкой почты, чтобы заверить» своих друзей в том-то и том-то. Теперь она с достоинством выпрямилась и на последние слова капитана Брауна сказала только, отчеканивая каждый слог:

— Я предпочитаю доктора Джонсона мистеру Бозу. Утверждают, — за верность этого я не ручаюсь, — будто слышали, как капитан Браун сказал *sotto voce*.<sup>[8]</sup> «Черт бы побрал доктора Джонсона». Если это и правда, то он тут же почувствовал себя виноватым, что и доказал, подойдя к креслу мисс Дженкинс и попытавшись завязать с ней разговор на более приятную тему. Но она осталась неумолимой. На следующий день она произнесла упомянутую мною фразу о ямочках мисс Джесси.

## ГЛАВА II

### КАПИТАН

Невозможно прогостить месяц в Крэнфорде и не получить подробных сведений о том, как живет каждый из его обитателей, и задолго до того, как мой визит окончился, я уже узнала о семействе Браунов очень многое. Не о их бедности — о ней они с самого начала говорили откровенно и просто и не скрывали, что им приходится жить очень экономно. Городку оставалось только обнаружить, насколько неисчерпаема сердечная доброта капитана и насколько разнообразны ее проявления, которых сам он вовсе не замечал. Кое-какие из них довольно долго давали пищу для пересудов. Читали мы мало, почти все дамы были довольны своей прислугой, и тем для разговоров не хватало. А потому мы во всех подробностях обсудили случай, когда капитан в одно очень скользкое воскресное утро забрал из рук бедной старухи ее обед. Выходя из церкви, он увидел, как она бредет из пекарни, заметил, что ноги ее почти не слушаются, и с тем же достоинством, с каким он делал решительно все, освободил ее от ноши и шел по улице рядом с ней, пока благополучно не донес тушеную баранину с картофелем до самого ее дома. Это было сочтено весьма эксцентричным поступком, и мы ждали, что утром в понедельник капитан отправится делать визиты, дабы оправдаться и удовлетворить крэнфордские понятия о приличиях, но он ничего подобного не сделал, после чего было решено, что ему стыдно и он прячется от людских глаз. От души сжалившись над ним, мы начали повторять? «В конце концов воскресное происшествие доказывает, что у него очень доброе сердце». И было решено утешить его, как только он появится среди нас, но — увы! — он явился ничуть не пристыженный, разговаривал обычным густым басом, как всегда откинув голову в неизменном щегольски завитом парике, и мы были вынуждены заключить, что он попросту забыл про воскресное событие.

Между мисс Пул и мисс Джесси Браун благодаря шетландской шерсти и новым вязальным спицам завязалось нечто вроде дружбы, а потому, когда я гостила у мисс Пул, то виделась с Браунами гораздо чаще, чем когда жила у мисс Дженкинс, которая так и не простила капитану Брауну его, как она выразилась, оскорбительных замечаний по адресу изящной и приятной беллетристики доктора Джонсона. Я узнала, что мисс Браун терзает какой-то медленный и неизлечимый недуг и что страдания придают ее лицу ту

угрюмость, которую я прежде сочла свидетельством плохого характера. Порой она действительно сердилась по пустякам — когда нервное раздражение, вызывавшееся ее недугом, оказывалось свыше ее сил. Мисс Джесси сносила эти припадки раздражительности даже еще более терпеливо, чем горькие самообвинения, которыми они неизменно завершались. Мисс Браун упрекала себя не только за вспыльчивость и нетерпеливость, но и за то, что из-за нее отец и сестра вынуждены во всем себе отказывать, лишь бы покупать дорогие лекарства и лакомства, которые в ее состоянии были ей необходимы. Она с такой охотой сама приносила бы жертвы ради них и облегчала бы их заботы, что в результате природная щедрость ее души оборачивалась лишней причиной для раздражения. Мисс Джесси и капитан сносили все это не только безропотно, но с нежной любовью. Когда я побывала у них дома, я простила мисс Джесси фальшивое пение и платья, не совсем идущие к ее возрасту. Я поняла, что (увы, сильно потертые) сюртуки капитана с ватной грудью и его каштановый парик «а-ля Брут» — это остатки его щегольской военной молодости, которые он теперь без смущения донашивал. Он был мастером на все руки, чему немало способствовал опыт, приобретенный в казармах. По его собственному признанию, своими сапогами он бывал доволен, только когда чистил их сам, но, впрочем, он охотно облегчал труд их маленькой служанки и всякими другими способами — возможно, сознавая, что из-за болезни его дочери ее место никак нельзя назвать завидным.

Вскоре после описанного мною достопамятного диспута он попытался примириться с мисс Дженкинс, преподнес ей деревянный совок для угля (его собственного изготовления), так как она постоянно жаловалась на то, что ей очень досаждают скрежет железного совка. Мисс Дженкинс приняла его дар холодно и поблагодарила его с церемонной вежливостью. Когда капитан ушел, она попросила меня унести совок в чулан, чувствуя, возможно, что как ни неприятен железный совок для угля, он все-таки предпочтительнее, чем подарок человека, который ставит мистера Боза выше доктора Джонсона.

Таково было положение вещей, когда я покинула Крэнфорд и уехала в Драмбл. Однако у меня было несколько усердных корреспонденток, которые держали меня *au fait*<sup>[9]</sup> относительно всего, что происходило в милом городке: мисс Пул, например, которая теперь вязала крючком с таким же упоением, как прежде на спицах, а потому все ее письма, в сущности, сводились к рефрену старинной песни «И белой шерсти мне купи у Флинта» — каждую новость заключало то или иное поручение, имевшее непосредственное отношение к вязанию крючком. Мисс Матильда

Дженкинс (не имевшая ничего против того, чтобы ее называли мисс Мэтти, когда мисс Дженкинс не было рядом) писала милые ласковые путаные письма, время от времени осмеливаясь высказать собственное мнение; однако она тут же спохватывалась и либо просила меня не обращать внимания на ее слова, ибо Дебора так не думает, а кому же судить, как не ей, либо добавляла постскрипtum примерно в таком духе: написав вышеуказанное, она успела поговорить с Деборой, и теперь убеждена... и т. д. (чаще всего тут следовало полное отречение от мнения, которое она высказала в злополучном письме). Далее мне писала мисс Дженкинс — Дебора, ревниво оберегавшая свое библейское имя, которое дал ей ее покойный отец, от фамильярных сокращений. Я даже думаю, что она взяла свою библейскую тезку себе за образец, и, право, в ней было сходство с этой суровой пророчицей — разумеется, со скидкой на разницу в воспитании и различие в одежде. Мисс Дженкинс носила мягкий, завязанный бантом галстук, шляпку, похожую на жокейское кепи, и вообще у нее был вид женщины с сильной волей, хотя она с презрением отнеслась бы к нынешним утверждениям, будто женщины равны мужчинам. Равны! Она прекрасно знала, что они гораздо их выше. Но вернемся к ее письмам. Все в них было достойным и величавым, как она сама. Я недавно перечитывала их (милая мисс Дженкинс, как я благоговела перед ней!) и приведу здесь один отрывок, тем более что он касается нашего друга капитана Брауна:

«Высокородная миссис Джеймисон только что покинула меня; пока мы беседовали, она сообщила мне о том, что вчера ей нанес визит былой друг ее незабвенного супруга лорд Молверер. Вряд ли вы сумеете отгадать, что привело милорда в пределы нашего небольшого городка. Это было желание повидать капитана Брауна, с кем, как оказывается, милорд встречался среди «войн в пернатых шлемах»<sup>[10]</sup> и кому выпала честь оградить милорда от гибели, когда ему угрожала ужасная опасность неподалеку от мыса, незаслуженно носящего название мыса Доброй Надежды.<sup>[11]</sup> Вам известно, что нашему другу миссис Джеймисон несколько не хватает духа невинного любопытства; а потому вы не будете особенно удивлены, узнав, что она не смогла сообщить мне, какова была природа вышеуказанной опасности. Мне, признаюсь, хотелось узнать, каким образом капитан Браун, чей дом поставлен отнюдь не на широкую ногу, мог принять столь именитого гостя, и оказалось, что милорд удалился опочить сном, и будем надеяться, сладким, в гостиницу «Ангел», однако два дня, в течение которых он озарял Крэнфорд своим августейшим присутствием, милорд делил браунианский

стол. По словам миссис Джонсон, жены нашего городского мясника, мисс Джесси купила ножку ягненка, но об иных приготовлениях к приему, достойному столь именитого гостя, я ничего не слышала. Быть может, они угощали его «яствами духа, напитком беседы ученой»,<sup>[12]</sup> и нам, тем, кому известно прискорбное пренебрежение капитана Брауна «к прозрачным родникам родного языка, ничем не замутненным»,<sup>[13]</sup> возможно, следует порадоваться тому, что он имел случай улучшить свой вкус, беседуя с элегантным и утонченным членом британской аристократии. Но кто свободен от тех или иных человеческих слабостей и недостатков?»

С той же почтой я получила по письму от мисс Пул и мисс Мэтти. Крэнфордские любительницы переписки не могли упустить такую новость, как приезд лорда Молверера, и извлекли из нее все, что было возможно. Мисс Мэгги смиренно извинилась, что пишет одновременно с сестрой, которая настолько лучше ее могла рассказать, какая честь выпала Крэнфорду. Однако, несмотря на безупречную орфографию, именно письмо мисс Мэтти дало мне наиболее полное представление о том, в какое волнение был ввергнут городок из-за визита лорда. Ведь за исключением прислуги в «Ангеле», Браунов, миссис Джеймисон и маленького мальчика, которого милорд выругал, когда тот задел грязным обручем его аристократическую ногу, он, насколько я знаю, никого не удостоил там беседой.

В следующий раз я приехала в Крэнфорд летом. За время моего отсутствия там никто не родился, никто не умер и никто не сочетался браком. Все жили в прежних своих жилищах, и почти все носили те же отлично сохранные старомодные платья. Наиболее замечательным событием был ковер, который барышни Дженкинс купили для гостиной. Ах, сколько хлопот доставляли нам с мисс Мэтти солнечные лучи, которые во вторую половину дня все время норовили упасть на этот ковер сквозь незанавешенное окно! Мы клали на эти места газеты, а затем возвращались к нашим книгам или рукоделию, но четверть часа спустя, увы и ах, солнце перемещалось и озаряло ковер уже в стороне от газет, и нам вновь приходилось падать на колени и передвигать развернутые листы. Кроме того, мы были очень заняты все утро перед званым вечером мисс Дженкинс: следуя ее указаниям, мы отрезали полосы от газет, сшивали их и укладывали узенькие дорожки к каждому стулу так, чтобы обувь гостей не загрязнила и не осквернила чистоты ковра. А вы в Лондоне изготавливаете для каждого гостя особую бумажную дорожку?

Капитан Браун и мисс Дженкинс держались друге другом довольно

натянута. Литературный спор, завязавшийся на моих глазах, остался открытой раной, легчайшее прикосновение к которой причиняло им страдания. Иных расхождений во мнениях между ними никогда не было, но этого одного оказалось достаточно. Мисс Дженкинс не могла удержаться и, не обращаясь прямо к капитану, говорила вещи, адресованные, несомненно, ему. А он, правда, ничего не отвечал, но барабанил пальцами по столу, и этот его демарш весьма ее уязвлял, как поношение доктора Джонсона. Он слишком выставлял напоказ предпочтение, которое отдавал сочинениям мистера Боза, и однажды, идучи по улице, настолько углубился в них, что чуть было не толкнул мисс Дженкинс; и хотя его извинения были горячими и искренними, и хотя, собственно говоря, ничего не произошло — он только испугал ее и перепугался сам, — она призналась мне, что предпочла бы, чтобы капитан сбил ее с ног, лишь бы он при этом читал более возвышенную литературу. Бедный мужественный капитан! Он выглядел постаревшим, еще более измученным, а сукно его сюртука совсем вытерлось. Однако весел и бодр он был, как прежде, — если только его не спрашивали о здоровье его старшей дочери.

— Она очень страдает и будет страдать еще больше; мы делаем, что можем, чтобы как-то облегчить ее боль. На все воля божья!

При последних словах он снял шляпу. От мисс Мэтти я узнала, что для нее действительно делалось все. К ней был приглашен самый известный в этих краях врач, и все его советы исполнялись, каких бы расходов они ни требовали. Мисс Мэтти не сомневалась, что они отказывают себе в очень многом, лишь бы больная ни в чем не нуждалась, но сами они об этом никогда не упоминали, а мисс Джесси...

— Право, она настоящий ангел! — сказала бедная мисс Мэтти, давал волю своим чувствам. — Она сносит раздражение мисс Браун, словно совсем его не замечает, и после бессонной ночи, когда ее чуть ли не до зари терзали попреками, она весело улыбается. Как это прекрасно! И встречает капитана за завтраком такая свежая и бодрая, словно сладко спала до утра в кровати королевы! Милочка, вы бы не стали больше смеяться над ее локончиками и розовыми бантами, если бы видели все это, как видела я.

Я могла только почувствовать себя очень виноватой, и когда мы снова встретились с мисс Джесси, поздоровалась с ней очень почтительно. Она выглядела увядшей и похудевшей, а когда заговорила о сестре, ее губы задрожали, точно от слабости. Однако она удержала слезы, уже блеснувшие в ее красивых глазах, и, посветлев, сказала:

— Но какой Крэнфард добрый город! Право же, если у кого-нибудь обед особенно удался, так лучшее кушанье обязательно будет прислано

моей сестре в закрытом блюде. Бедняки оставляют для нее ранние овощи у нас на крыльце. Они отвечают коротко и ворчливо, словно чего-то стыдятся, но как бесконечно трогает меня их заботливость!

И на этот раз слезы хлынули из ее глаз, однако через минуту-другую она выбрала себя за них и в конце концов рассталась со мной такая же веселая и бодрая, как всегда.

— Но почему же этот лорд Молверер ничего не сделал для человека, который спас ему жизнь? — спросила я.

— Да видите ли, капитан Браун упоминает про свою бедность, только если на то есть веские причины, а в обществе милорда он все время выглядел счастливым и беззаботным, точно принц; ну, и они не извинялись за скудость обеда — так как же ее было заметить? А мисс Браун в тот день чувствовала себя лучше, и казалось, будто все у них обстоит отлично, так что лорд Молверер, наверное, даже не заподозрил, как трудно им живется на самом деле. Зимой он, правда, часто присылал им дичи, но теперь он путешествует за границей.

Я часто замечала, как умеют в Крэнфорде использовать всякие мелочи, чтобы делать приятное другим. Розовые лепестки ошипывались прежде, чем они успевали осыпаться, и из них приготавлилась душистая смесь для кого-нибудь, у кого нет сада, пучочки лаванды посылались обитателю большого города, чтобы рассыпать их в ящиках комода или сжигать в спальне больного, страдающего хроническим недугом. Крэнфорд ревностно делал подарки, на которые многие взглянули бы с пренебрежением, и оказывал услуги, казалось бы, не стоящие затраченного на них труда. Мисс Дженкинс начинила яблоко гвоздикой, чтобы оно распространяло приятное благоухание в комнате мисс Браун, когда его нагреют, и каждую вкладываемую в него гвоздичку сопровождала джонсонианской фразой. Стоило ей теперь подумать о Браунах, как она начинала говорить на манер доктора Джонсона, а поскольку в это лето они постоянно занимали ее мысли, то я все время выслушивала звучные трехэтажные предложения.

Как-то капитан Браун явился с визитом, чтобы поблагодарить мисс Дженкинс за множество мелких любезностей, о которых я до тех пор ничего не знала. Он внезапно превратился в старика, его глубокий бас звучал надтреснуто, глаза потускнели, лицо избороздили морщины. О состоянии своей дочери он уже был не в силах говорить бодро, но то немногое, что он сказал, было сказано с мужественной благочестивой покорностью судьбе. Дважды он повторил: «Только богу известно, чем была для нас Джесси» — и после второго раза поспешно встал, молча



пожал нам всем руки и вышел.

К вечеру мы заметили на улице кучки людей, которые с ужасом на лицах выслушивали какую-то весть. Некоторое время мисс Дженкинс недоумевала, что могло случиться, а затем все-таки решила пренебречь требованиями хорошего тона и послала Дженни узнать, в чем дело.

Дженни вернулась белая как полотно.

— Ох, сударыня! Ох, мисс Дженкинс, сударыня! Эта мерзкая железная дорога убила капитана Брауна! — И она разразилась рыданиями, потому что, как и многие другие, она любила капитана за его доброту.

— Как?.. Где?.. Где? Дженни, перестаньте плакать и расскажите толком!

Мисс Мэтти выбежала на улицу и приказала возчику, который принес страшную новость:

— Идите... тотчас же идите к моей сестре, мисс Дженкинс, к дочери крэнфордского священника. Ну, скажите, скажите, что это неправда! — восклицала она, вводя в гостиную растерявшегося возчика, который усердно приглаживал вихры и топтал мокрыми сапогами новый ковер — но никто не обратил на это внимания.

— Уж извините, сударыня, а так оно и есть. Я своими глазами видел! — И он вздрогнул при этом воспоминании. — Капитан ждал лондонского поезда, а сам читал какую-то новую книжку. А маленькая такая девочка захотела к маменьке, убежала от сестры и ковыляет себе по рельсам. А он, как услышал поезд, посмотрел, увидел ее и прыгнул на рельсы. Схватил ее, но у него нога подвернулась, а поезд тут его и переехал. О, господи, господи! Это правда, сударыня, они уже пошли сказать его дочкам. А девочка-то цела и невредима. Ей только плечо ушибло, когда он бросил ее на руки матери. Бедный капитан был бы этому рад, верно ведь, сударыня? Благослови его бог!

Суровое лицо дюжего возчика сморщилось, и он отвернулся, чтобы скрыть слезы. Я взглянула на мисс Дженкинс. Ей, по-видимому, стало дурно, и она вделала мне знак открыть окно.

— Матильда, принеси мою шляпку. Я должна пойти к бедным девушкам. Да простит мне бог, что я иногда говорила с капитаном пренебрежительно!

Мисс Дженкинс оделась, готовясь выйти из дому, и велела мисс Матильде налить возчику рюмочку вина. До ее возвращения мы с мисс Мэтти сидели съезжившись у камина и тихо, испуганно переговаривались. И я знаю, мы обе все время, тихонько плакали.

Мисс Дженкинс вернулась в молчаливом настроении, и мы не посмели

ее расспрашивать. Она сказала нам, что мисс Джесси упала в обморок и они с мисс Пул лишь с трудом привели ее в чувство, но что мисс Джесси, едва очнувшись, попросила, чтобы одна из них пошла посидеть с ее сестрой.

— Мистер Хогтинс говорит, что ей остается жить совсем недолго и ее нужно оберегать от этого удара, — сказала мисс Джесси тихо, не смея дать волю своему горю.

— Но как вы сумеете это сделать, милочка? — спросила мисс Дженкинс. — У вас не хватит сил, она заметит ваши слезы.

— Господь мне поможет... я сдержусь... Она спала, когда пришли сказать... Может быть, она еще не проснулась. Ей будет так тяжело — и не только из-за смерти папы, но и от мысли о том, что теперь будет со мной. Ведь она всегда так обо мне заботится!

Они встретили взгляд ее кротких любящих глаз, и мисс Пул говорила потом, что чуть было не расплакалась, зная, как мисс Браун обходится с сестрой.

Однако все устроилось по желанию мисс Джесси. Мисс Браун объяснили, что ее отцу пришлось спешно уехать по делам железной дороги. Как-то им удалось ее убедить — как именно, мисс Дженкинс не знала. Мисс Пул обещала пока остаться у мисс Джесси. Миссис Джеймисон прислала справиться о них. Больше ничего в этот вечер мы не узнали, и он был очень-очень грустный. На следующий день газета графства, которую выписывала мисс Дженкинс, поместила подробное описание рокового происшествия. Мисс Дженкинс сказала, что стала что-то слаба глазами, и попросила меня прочесть газету вслух. Когда я дошла до фразы: «Доблестный джентльмен был поглощен чтением очередного выпуска «Пиквика», который только что получил», мисс Дженкинс долго и печально качала головой, а затем произнесла со вздохом:

— Бедный, милый, ослепленный человек!

Тело со станции должны были перенести в приходскую церковь, чтобы затем там же предать земле. Мисс Джесси во что бы то ни стало хотела проводить отца в последний путь и не слушала никаких убеждений. Необходимость сдерживаться сделала ее почти упрямой, и она осталась глуха к просьбам мисс Пул и советам мисс Дженкинс. В конце концов мисс Дженкинс уступила и после молчания, которое, как я боялась, означало, что мисс Джесси вызвала ее глубокое неудовольствие, обещала сопровождать ее на похоронах.

— Вы не можете быть там одна. Если я допущу подобное, это будет поправлением и приличий и человечности.

Судя по лицу мисс Джесси, это предложение ее отнюдь не обрадовало, но все упрямство, если оно у нее было она израсходовала, отстаивая свое намерение присутствовать при погребении. Бедняжке, конечно, хотелось в одиночестве выплакаться на могиле любимого отца, для которого она была всем, и на краткие полчаса свободно отдаться горю вдали от дружеских и сочувственных глаз. Но это ей не было дано. В тот же день мисс Дженкинс послала в лавку за ярдом черного крепа и немедленно обшила им черную шелковую шляпку, о которой я упоминала. Кончив работу, она надела шляпку и оглянулась на нас, ожидая нашего одобрения — восторги и восхищение она презирала. У меня было очень тяжело на душе, но даже в минуты самого искреннего горя нас порой непрошено навещают забавные мысли, и шляпка на голове мисс Дженкинс представилась мне внушительным шлемом. Вот в этом-то головном уборе, наполовину жокейском кепи, наполовину шлеме, мисс Дженкинс и присутствовала на похоронах капитана Брауна и, насколько мне известно, поддерживала мисс Джесси с нежной снисходительной твердостью, позволив ей вдоволь поплакать, прежде чем они покинули кладбище.

Тем временем мисс Пул, мисс Мэтти и я ухаживали за мисс Браун, но, как мы ни старались, ее ворчливые бесконечные жалобы не иссякали. И если мы совсем пали духом и измучились, то как же должна была чувствовать себя мисс Джесси! Однако она вернулась домой почти спокойной, точно обрела новые, силы. Сняв траур, она вошла к больной, немного бледная, кроткая, как всегда, и поблагодарила нас нежным и долгим пожатием руки. Она даже сумела улыбнуться — слабой, ласковой, невеселой улыбкой, словно стараясь заверить нас в том, что несчастье ее не сломило. И все же наши глаза внезапно наполнились слезами, которые нам было бы легче сдержать, если бы она расплакалась. Мы уговорились, что мисс Пул останется с ней на всю долгую ночь бдения у постели больной, а мисс Мэтти и я вернемся утром, чтобы сменить их и дать мисс Джесси возможность немного поспать. Однако, когда настало утро, мисс Дженкинс вышла к завтраку в шлемоподобной шляпке и велела мисс Мэтти остаться дома — она сама пойдет ухаживать за больной. По-видимому, ее снедала великая лихорадка дружеского сочувствия, заставлявшая ее завтракать стоя и выговаривать всем домашним.

Но никакие заботы и никакая энергичная, обладающая непреклонной волей женщина уже не могли помочь мисс Браун. Когда мы вошли в комнату, там властвовало нечто более сильное, чем все мы, грозное нечто, перед которым мы были беспомощны. Мисс Браун умирала. Мы едва узнали ее голос — от раздраженности, без которой мы его себе не

представляли, не осталось и следа. Потом мисс Джесси говорила мне, что в это утро голос и лицо ее сестры стали вновь такими, какими они были прежде, до того, как смерть матери сделала ее юной, робкой главой семьи, из которой теперь осталась только мисс Джесси. Умиравшая сознавала присутствие сестры, хотя нас, мне кажется, не замечала. Мы стояли чуть в стороне, за занавеской; мисс Джесси, опустившись на колени у изголовья сестры и наклонившись к ее лицу, ловила последний, еле слышный страшный шепот:

— Ах, Джесси, Джесси! Какой я была эгоисткой! Да простит мне бог, что я позволила тебе пожертвовать для меня всем! Я так тебя любила и все-таки думала только о себе. Да простит мне бог!

— Милая, ну что ты, что ты... — сказала мисс Джесси сквозь рыдания.

— А папа! Милый любимый папа! Я не буду жаловаться, если господь даст мне силу терпеть. Но, Джесси, расскажи папе, как мне хотелось увидеть его в последние минуты и попросить у него прощения. Теперь он уже никогда не узнает, как я его любила... ах, если бы я могла сказать ему это, прежде чем умру! Какой горестной была его жизнь, а я так мало делала, чтобы облегчить ее!

Лицо мисс Джесси словно озарилось светом.

— Родная, может быть, тебя утешит мысль, что он это знает? Милая, ведь его заботы, его горести... — Ее голос задрожал, но она принудила себя говорить твердо. — Мэри! Он раньше тебя ушел туда, где усталые обретают покой. Он знает теперь, как ты его любила.

На лице мисс Браун появилось странное выражение, но в нем не было печали. Несколько мгновений она молчала, а затем мы не столько услышали, сколько прочли по ее губам слова:

— Папа, мама, Гарри, Арчи... — И тут новая мысль омрачила ее тускнеющее сознание: — Но ты же остаешься, совсем одна, Джесси!

Мисс Джесси, наверное, думала об этом все время, пока молчала, потому что теперь из ее глаз дождем хлынули слезы и у нее не сразу достало сил ответить. Затем, сложив ладони, она воздела руки и сказала — не нам:

— «Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться!»<sup>[14]</sup>

Несколько минут спустя мисс Браун застыла в последнем покое, чтобы больше уже никогда не страдать и не роптать.

После вторых похорон мисс Дженкинс настояла на том, чтобы мисс Джесси погостила у нее, а не возвращалась в опустевший дом, тем более что у нее не было средств жить в нем дальше, как она сама нам сказала. У

нее оставалось что-то около двадцати фунтов годового дохода, не считая процентов с суммы, которую удастся выручить за мебель — прожить на это было невозможно, и мы начали обсуждать, каким способом она могла бы зарабатывать деньги.

— Я умею шить, — сказала мисс Джесси, — и мне нравится ходить за больными. Кроме того, мне кажется, я сумела бы вести хозяйство, если бы кто-нибудь взял меня в экономки, или же я могла бы служить продавщицей, если бы меня научили моим обязанностям.

Мисс Дженкинс разгневанно объявила, что ничего подобного она делать не будет, и почти час спустя все еще разговаривала сама с собой о том, что «некоторые люди не понимают, что, будучи дочерьми капитана, они должны считаться со своим положением», — когда принесла мисс Джесси глубокую тарелку тщательно приготовленного саго и стояла над ней, словно часовой, пока последняя ложка не была съедена, и только затем покинула комнату. Мисс Джесси, начав объяснять мне, чем еще она могла бы заняться, незаметно заговорила с давно ушедших днях, и я настолько заинтересовалась, что перестала замечать время. Мы обе вздрогнули, когда мисс Дженкинс внезапно вернулась и застала нас обеих в слезах. Я боялась, что она рассердится — ведь она часто повторяла, что слезы мешают пищеварению, а я знала, как она хочет, чтобы мисс Джесси поскорее окрепла. Но мисс Дженкинс не рассердилась, вид у нее был загадочный и взволнованный, и она несколько раз прошла мимо нас, прежде чем заговорила:

— Я была так поражена... то есть ничуть не поражена... извините, милая мисс Джесси... Я была очень удивлена... то есть пришел один джентльмен, с которым вы когда-то были знакомы, дорогая мисс Джесси...

Мисс Джесси побелела, затем залилась алой, краской и нетерпеливо посмотрела на мисс Дженкинс.

— Джентльмен, милочка, который спрашивает, можете ли вы его принять.

— Это... неужели это... — пробормотала мисс Джесси и умолкла.

— Вот его карточка, — сказала мисс Дженкинс, вручая ее мисс Джесси, и над ее склоненной головой начала подмигивать мне, делать странные гримасы и беззвучно произнесла длинную фразу, из которой я, разумеется, не поняла ни слова.

— Можно ему войти? — спросила наконец мисс Дженкинс.

— О да, конечно, — ответила мисс Джесси тоном, который говорил: «Это ваш дом, и вы можете приглашать в него, кого вам угодно». Она взяла вязанье мисс Мэтти и принялась усердно считать петли, хотя я видела, что

она вся дрожит.

Мисс Дженкинс позвонила в колокольчик и отдала распоряжение служанке проводить майора Гордона в гостиную. Через минуту в комнату вошел красивый человек лет сорока с открытым мужественным лицом. Он пожал руку мисс Джесси, но она упорно смотрела в пол, и он не мог увидеть ее глаз. Мисс Дженкинс спросила, не помогут ли я ей обвязать банки с вареньем в кладовой, и, хотя мисс Джесси дернула меня за платье даже бросила на меня молящий взгляд, я не посмела не пойти туда, куда меня позвала мисс Дженкинс. Однако мы не пошли перевязывать банки с вареньем в кладовой, а остались в столовой, где мисс Дженкинс пересказала мне все, что ей поведал майор Гордон: как он служил в одном полку с капитаном Брауном и познакомился с мисс Джесси, тогда цветущей восемнадцатилетней девушкой, как он полюбил ее, хотя несколько лет тайл свою любовь про себя, как, унаследовав от дяди поместье в Шотландии, он сделал ей предложение и получил отказ, но при этом она была так взволнована и видимо огорчена, что он уверился в ее взаимности, и как он узнал, что препятствием был роковой недуг, уже тогда угрожавший ее сестре. Она проговорила, что, по словам врачей, боли будут страшными и постоянными, а ухаживать за бедной милой Мэри, ободрять и утешать их отца, кроме нее, некому. Они не раз долго разговаривали о будущем, но когда она наотрез отказалась дать ему слово, что станет его женой, когда все будет кончено, он вспылil, тут же полностью порвал с ней и уехал за границу, уверяя себя, что она бессердечна и ему следует поскорее ее забыть. Он путешествовал по Востоку и, возвращаясь на родину, прочел в Риме рассказ о гибели капитана Брауна, напечатанный в «Галиньяни».

Тут мисс Мэтти, которая отсутствовала все утро и только сейчас вернулась домой, вбежала в столовую с чрезвычайно расстроенным и смущенным видом.

— Только подумать! — воскликнула она. — Дебора, в гостиной сидит какой-то джентльмен, и его рука лежит на талии мисс Джесси!

Глаза мисс Мэтти округлились от ужаса.

Мисс Дженкинс тотчас вывела ее из заблуждения:

— Это самое подходящее место для его руки! Уйди, Матильда, и не вмешивайся в чужие дела.

Такая отповедь из уст сестры, которая до тех пор была столпом приличий, совсем ошеломила бедную мисс Мэтти, и она вышла из столовой в полной растерянности.

Последний раз я видела бедную мисс Дженкинс много лет спустя после этого события. Миссис Гордон поддерживала самые теплые и

дружеские отношения со всем Крэнфордом. Мисс Дженкинс, мисс Мэтти и мисс Пул не раз гостили у нее и, вернувшись, восторженно рассказывали о том, какой у нее дом, какой муж, как она одевается и как выглядит. Вместе со счастьем к ней отчасти вернулась красота ее юности, и к тому же она была года на два моложе, чем мы думали. Глаза у нее всегда были прелестны, а когда она стала миссис Гордон, то и против ямочек уже ничего нельзя было возразить. В то время, о котором я начала говорить, — когда я в последний раз видела мисс Дженкинс, — та совсем одряхла и несколько утратила былую непреклонность воли. У них гостила тогда маленькая Флора Гордон, и когда я вошла, девочка читала вслух мисс Дженкинс, которая лежала на кушетке, очень слабая и изменившаяся. При виде меня Флора отложила «Рассеянного».

— А! — сказала мисс Дженкинс. — Я уже не та, что, раньше, милочка. Глаза что-то стали плоховаты. Если бы, Флора не читала мне, не знаю, как бы я коротала дни. — А вы когда-нибудь читали «Рассеянного»? Удивительная, книга, удивительная! И очень полезная для Флоры. (С этим последним я, наверное, согласилась бы, если бы девочка могла хотя бы половину слов читать не по слогам, и понимала бы смысл трети из них.) Гораздо лучше той нелепой старинной книги со странным названием... еще бедный капитан Браун был убит за то, что читал ее... книги мистера Боза, ну, знаете, «Старый Поз». Когда я была молоденькой девушкой... очень давно это было... я играла Люси в «Старом Позе»...

И она болтала еще долго, так что Флора успела прочесть изрядный кусок «Рождественской песни», <sup>[15]</sup> которую мисс Мэтти забыла на столе.

## ГЛАВА III

# ДАВНЯЯ ЛЮБОВНАЯ ИСТОРИЯ

Я полагала, что после смерти мисс Дженкинс мои сношения с Крэнфордом кончатся или, во всяком случае, ограничатся перепиской, которая способна заменить живое общение не больше, чем альбомы с засушенными цветами (по-моему, они называются гербариями) могут заменить живые душистые цветы лугов и полей. А потому я была приятно удивлена, получив письмо от мисс Пул (у которой по завершении моего ежегодного визита к мисс Дженкинс я всегда проводила еще неделю) с приглашением погостить у нее, а затем, дня через два после того, как я его приняла, пришло письмецо от мисс Мэтти — она со множеством обиняков робко объясняла мне, какое удовольствие я ей доставлю, если погощу неделю-другую у нее либо до моего визита к мисс Пул, либо после него. «Ведь я хорошо понимаю, — писала она, — что после кончины моей дорогой сестры не могу предложить ничего заманчивого и обществом моих друзей обязана только их доброте».

Разумеется, я обещала погостить у милой мисс Мэтти после мисс Пул и на другой день после приезда в Крэнфорд отправилась к ней, стараясь представить себе, каким стал дом без мисс Дженкинс, и думая о возможных переменах с некоторой тревогой. Едва я вошла, мисс Мэтти начала плакать. По-видимому, ожидая меня, она совсем разнервничалась. Я утешала ее, как могла, и вскоре убедилась, что лучшим утешением были мои искренние похвалы покойной. Мисс Мэтти медленно наклоняла голову в такт перечислению добродетелей своей сестры, и в конце концов не сумела сдержаться, и закрыв носовым платком лицо, по которому уже давно катились тихие слезы, громко зарыдала.

— Милая мисс Мэтти, — пробормотала я, беря ее за руку, потому что у меня не было слов, чтобы выразить ей, как мне жаль ее теперь, когда она осталась на свете совсем одна.

Она отняла платок от лица и сказала:

— Милочка, пожалуйста, не называйте меня Мэтти. Ей ведь это не нравилось. Боюсь, я часто делала то, что ей не нравилось, а теперь ее больше нет. Называйте меня Матильдой, душенька, хорошо?

Я обещала, и в тот же день мы с мисс Пул начали упражняться, чтобы приучить себя к новому имени. Постепенно о желании мисс Матильды



узнал весь Крэнфорд, и все мы старались отвыкнуть от ее уменьшительного имени. Однако наши усилия оказались тщетными, и со временем мы оставили эту попытку.

Мой визит к мисс Пул не был ознаменован никакими событиями. Мисс Дженкинс так долго правила светской жизнью Крэнфорда, что теперь, после ее кончины, ни у кого не хватало, духа дать званый вечер. Высокородная миссис Джеймисон, которой сама мисс Дженкинс всегда щепетильно уступала первенство, была толста, апатична и всецело зависела от своих старых слуг. Если они решали, что она должна дать званый вечер, они напоминали ей об этом, а если нет, то сама она ничего не предпринимала. А потому у меня было сколько угодно времени, чтобы выслушивать рассказы мисс Пул о давно прошедших днях, пока она вязала, а я шила рубашки отцу. Я всегда захватывала в Крэнфорд какое-нибудь простое шитье, так как читали мы мало, гуляли тоже мало, и я скоро обнаружила, что легко справляюсь там с работой, которую никак не успеваю кончить дома. Один из рассказов мисс Пул был посвящен призрачной любовной истории, о которой давным-давно как будто ходили неясные слухи.

Вскоре настал день, когда я должна была покинуть кров мисс Пул и отправиться к мисс Матильде. Она встретила меня с некоторой тревогой, опасаясь, что устроила меня недостаточно удобно. Пока я распаковывала свои вещи, она то и дело входила ко мне, чтобы помешать огонь в камине, который в конце концов от этого чуть не погас.

— Вам будет довольно ящиков, милочка? Я точно не знаю, как их распределяла моя сестра. У нее была превосходная система. И конечно, она за одну неделю обучила бы служанку топить камин как следует, а ведь Фанни служит у меня уже четыре месяца.

Впрочем, прислуга была постоянной причиной тревог и жалоб, да и не удивительно; ведь если в «благородном обществе» Крэнфорда джентльмены были почти неслыханной редкостью, то низшие классы изобиловали ими, а вернее, их соответствиями — красивыми молодыми людьми. Хорошенькие опрятные служанки имели большой выбор очень приличных «дружков», и их хозяйки, даже если они не испытывали, подобно мисс Матильде, своего рода мистического ужаса перед мужчинами и узами брака, все же имели полное право опасаться, как бы миловидной служанке не вскружил голову столяр, мясник, садовник или еще кто-нибудь из тех, кому их ремесло открывало доступ в дом, и кто, к несчастью, обычно бывал красив и холост. Поклонники Фанни, если они у нее были (а мисс Матильда подозревала такое их невероятное количество, что, не будь

девушка и правда очень хорошенькой, я усомнилась бы, есть ли у нее хотя бы один вздохатель), причиняли ее хозяйке бесконечные беспокойства. Условия, на которых она была нанята, возбраняли ей обзаводиться «дружками», и хотя она, теребя край передника, простодушно сказала: «С вашего позволения, сударыня, у меня никогда их больше одного зараз не бывает», — мисс Мэтти наложила запрет и на этого единственного. Тем не менее над кухней тяготел призрак мужчины. Фанни заверила меня, что это было одно воображение, а не то я поклялась бы, что однажды вечером, заглянув в кладовую с каким-то поручением, своими глазами видела, как за дверью чулана молниеносно исчезли фалды сюртука; а в другой раз, когда наши часы остановились и я спустилась вниз узнать время, между высокими часами и открытой кухонной дверью я заметила нечто, удивительно похожее на молодого человека, втиснутого в это узкое пространство. Фанни же с какой-то странной поспешностью схватила свечу со стола, так что циферблат погрузился в тень, и с неколебимой уверенностью сообщила мне, который час, — причем на полчаса вперед, как мы обнаружили потом, услышав бой церковных курантов.

Но, как бы то ни было, Фанни пришлось оставить свое место, и мисс Матильда умоляла меня погостить у нее подольше, чтобы помочь ей «приладиться» к новой служанке, — и я согласилась после того, как отец написал, что пока еще не ждет меня домой. Новая служанка была неотесанной деревенской девушкой, которая прежде батрачила на ферме, но, когда она пришла наниматься, мне понравилось ее честное простодушное лицо, и я обещала мисс Матильде, что обучу ее порядкам, а порядки эти определялись тем, что, по мнению мисс Матильды, было бы одобрено ее сестрой. Пока мисс Дженкинс была жива, многие домашние законы и правила служили предметом жалоб мне на ухо, но теперь, после ее кончины, даже я, несмотря на мое привилегированное положение любимицы, не осмеливалась предложить никаких изменений. Например, за обедом мы точно соблюдали ритуал, установленный «в доме моего отца, крэнфордского священника», а потому вино и десерт были обязательными. Однако графины наполнялись, только когда приглашались гости, а к тому, что в них оставалось, мы — хотя у наших приборов неизменно ставились две рюмки — притрагивались редко, и перед следующим званым вечером состояние вина исследовалось и обсуждалось на семейном совете. Чаще всего остатки шли беднякам, но порой, если вина после предыдущего праздничного события (со времени которого могло пройти и пять месяцев) оставалось еще много, графин доливали вином из свежей бутылки. Помоему, капитан Браун не особенно любил вино: я заметила, что он никогда

не доканчивал даже первой рюмки, хотя военные обычно выпивают их несколько. На десерт мисс Дженкинс имела обыкновение собственноручно собирать смородину и крыжовник, хотя мне казалось, что они были бы куда вкуснее, если бы их можно было рвать прямо с куста. Однако, как заметила мисс Дженкинс, в этом случае летом на десерт нечего было бы подать. А так мы чувствовали себя весьма элегантными: две рюмки для каждой из нас, блюдо с крыжовником посередине, блюда со смородиной и сухариками по его сторонам и два графина позади них. Появление апельсинов сопровождалось любопытной церемонией. Мисс Дженкинс не нравилось, когда их резали, так как сок, по ее словам, брызгал неизвестно куда; и вкушать апельсин полагалось лишь одним способом — высасывая его (только она, мне кажется, употребляла более благозвучное слово). Однако эта процедура вызывала неприятные ассоциации с грудными младенцами, а потому в апельсиновый сезон мисс Дженкинс и мисс Мэтти после десерта вставали, в молчании брали по апельсину и удалялись в уединение своих спален, дабы там предаться высасыванию этих плодов.

Иногда я пыталась уговорить мисс Мэтти не уходить, и при жизни ее сестры мне это раза два удавалось. Я ставила экран и не смотрела в ее сторону, а она, по ее выражению, старалась не досаждать мне чмоканьем, но теперь моя просьба остаться со мной в теплой столовой и съесть апельсин, как ей будет угодно, привела ее в ужас. И так было, во всем. Порядки мисс Дженкинс соблюдались с неслыханной прежде строгостью, ибо та, что установила их, удалилась в мир иной, и некому было их смягчить. Во всем же остальном мисс Матильду отличали даже чрезмерные уступчивость и нерешительность. На моих глазах Фанни раз двадцать в течение утра заставляла ее менять распоряжения относительно обеда, и мне порой казалось, что ловкая девчонка пользовалась слабостью мисс Матильды нарочно, чтобы совсем ее запутать и укрепить свою власть над ней. А потому я решила не уезжать, пока хорошенько не узнаю Марту, и тогда, если она окажется преданной душой, предупредить ее, чтобы она не беспокоила свою хозяйку всякими мелочами.

Марта была грубовата и имела неприятную привычку прямо говорить все, что ей приходило в голову; кроме того, она была энергична, благожелательна и очень невежественна. Примерно через неделю после того, как она появилась в доме, мисс Матильда получила с утренней почтой письмо, весьма нас с ней удивившее, — от ее родственника, который прослужил в Индии лет двадцать — тридцать и недавно (о чем мы узнали из «Армейских списков»<sup>[16]</sup>) возвратился на родину с больной женой, никогда не видевшей своих английских родственников. Майор Дженкинс

писал, что они намерены переночевать в Крэнфорде по пути в Шотландию — если мисс Матильде неудобно принять их у себя, они остановятся в гостинице, но надеются провести с ней как можно больше времени в течение дня. Разумеется, это не может быть ей неудобно, — объявила она: ведь весь Крэнфорд знает, что спальня ее сестры свободна. Однако я убеждена, что она предпочла бы, чтобы майор навсегда остался в Индии и забыл о существовании своих английских родственников.

— Ах, но как же я их устрою? — растерянно спрашивала она. — Будь Дебора жива, она бы знала, как принять приезжающего погостить джентльмена. Надо ли положить бритвы в его туалетную? И ведь у меня их нет! А у Деборы они нашлись бы! А ночные туфли, а щетки, чтобы чистить мундир?

Я высказала предположение, что, вероятно, все это он привезет с собой.

— А как я узнаю, когда после обеда мне следует встать и оставить его в столовой допивать вино? Дебора сделала бы это вовремя, она была бы совершенно в своей стихии. Как вы думаете, нужно будет варить для него кофе?

Я обещала заняться кофе, сказала, что приобщу Марту к искусству прислуживать за столом (надо признаться, оно было ей совершенно неведомо), и добавила, что майор и миссис Дженкинс, несомненно, понимают, каким простым и тихим должен быть образ жизни одинокой дамы в провинциальном городке. Тем не менее она никак не могла успокоиться. Я уговорила ее вылить содержимое графинов и достать из погреба две запечатанные бутылки. К сожалению, я не могла отослать ее, когда давала наставления Марте, и она то и дело перебивала меня все новыми и новыми указаниями, так что совсем запутала бедную девушку, которая стояла с открытым ртом и смотрела то на меня, то на нее.

— Обнесите обедающих овощами, — сказала я (что, как я вижу теперь, было глупо, поскольку отнюдь не соответствовало тишине и простоте, к которым мы стремились) и, заметив растерянный взгляд Марты, пояснила: — Обойдите с блюдом тех, кто обедает, чтобы они сами накладывали себе овощи.

— И обязательно начинайте с дам, — вставила мисс Матильда. — Обязательно подходите сначала к дамам, а потом уже к джентльменам, когда прислуживаете за столом.

— Хорошо, сударыня, я так и сделаю, — ответила Марта. — Только мне парни больше нравятся.

Это заявление Марты нас смутило и шокировало, но она, конечно, не

имела в виду ничего дурного, и, в общем, она старательно выполнила наши указания, хотя и подтолкнула майора локтем, когда он не сразу принялся накладывать себе картофель с блюда, которое она ему подставила.

Майор и его супруга оказались скромными, непритязательными людьми, несколько вялыми — но, если не ошибаюсь, такая вялость свойственна всем, кто долго жил в Индии. Мы пришли в ужас, когда выяснилось, что с ними приехало двое слуг: индус-камердинер майора и пожилая горничная его жены. Но они спали в гостинице и оказали нам немалую помощь, следя, чтобы их господа ни в чем не нуждались. Марта, разумеется, все время таращила глаза на белый тюрбан и коричневое лицо индуса, и я заметила, что мисс Матильда немного ежилась, когда он прислуживал за столом. После их отъезда она даже спросила меня, не нахожу ли я в нем сходства с Синей Бородой. В целом визит прошел весьма удачно и до сих пор служит мисс Матильде неисчерпаемой темой для разговоров. Крэнфорд он привел в большое волнение и даже побудил апатичную и высокородную миссис Джеймисон задать мне несколько вопросов, когда я пришла поблагодарить ее за любезность, с которой она снабдила мисс Матильду сведениями о том, как следует обставить туалетную джентльмена, — впрочем, надо признать, давала она эти сведения с утомленной манерой скандинавской пророчицы!

### *Мой покой не нарушайте<sup>[17]</sup>*

И, вот теперь я наконец перехожу к любовной истории.

Оказалось, что у мисс Пул был не то троюродный, не то четвероюродный брат, который давным-давно сделал предложение мисс Мэтти. Этот кузен, мисс Пул жил на своей земле в четырех-пяти милях от Крэнфорда, однако владения, его были столь незначительны, что давали ему право считаться только йоменом,<sup>[18]</sup> а вернее, со смирением, которое паче, гордости, он просто, не пожелал, вопреки примеру многих и многих фермеров, повысить себя в ранг помещика. Он не позволял, чтобы его называли Томасом Холбруком, эсквайром, и даже возвращал письма, надписанные таким образом, — объясняя на почте в Крэнфорде, что он не эсквайр, а мистер Томас Холбрук, йомен. Он не желал ничего менять в порядках, своего дома. Парадная дверь там стояла распахнутой все лето

напролет, а зимой плотно закрывалась и не была снабжена ни звонком, ни молотком. Хозяин, если дверь оказывалась запертой, давал знать слугам о своем приходе, стуча в нее кулаком или набалдашником трости. Он презирал все требования утонченности и хороших манер, если только источником их не были истинная доброта и благородство. Когда вокруг не было больных, он не считал нужным понижать голос. Он в совершенстве знал местный диалект и постоянно им пользовался. Впрочем, мисс Пул (которая сообщила мне все эти подробности) тут же поспешила добавить, что так прекрасно и с таким чувством читать вслух, как он, не умел никто, кроме покойного крэнфордского священника.

— Но почему же мисс Матильда не вышла за него? — спросила я.

— Право, не знаю. Она, по-моему, с радостью согласилась бы, но, понимаете, кузен Томас не был джентльменом, на взгляд ее отца и мисс Дженкинс.

— Но не они же за него выходили! — сказала я с досадой.

— Да, конечно, но им не нравилось, что он неровня мисс Мэтти. Ведь она же была дочерью священника, и к тому же они состоят в каком-то родстве с сэром Питером Арли; мисс Дженкинс придавала этому большое значение.

— Бедная мисс Мэтти! — сказала я.

— Ну, я ведь знаю только, что он сделал предложение и получил отказ. Может быть, он вовсе и не нравился мисс Мэтти, а мисс Дженкинс ни слова против не сказала. Это же только мои догадки.

— И с тех пор она его больше не видела?

— По-моему, нет. Видите ли, Вудли, дом кузена Томаса, находится как раз на полдороге между Крэнфордом и Милстоном, и вскоре после того, как ему отказали, кузен Томас начал ездить на рынок в Милстон и почти не заглядывал в Крэнфорд. Однажды, правда, мы с мисс Мэтти шли по Хай-стрит, как вдруг она, ничего мне не говоря, свернула в переулок. А минуты через две-три, смотрю, мне навстречу идет кузен Томас.

— А сколько ему теперь лет? — спросила я, после того как несколько минут в молчании воздвигала воздушный замок.

— Да лет семьдесят, милочка, — ответила мисс Пул, и мой замок разлетелся вдребезги, словно она подвела под него пороховую мину.

Вскоре после этой беседы — во всяком случае, в тот же самый раз, когда я загостилась у мисс Матильды, — мне представился случай увидеть мистера Холбрука, а кроме того, и стать свидетельницей первой встречи между ним и его бывшей возлюбленной после тридцати, если не сорока, лет разлуки. Я помогала решить, подойдет ли какой-нибудь из только что

полученных лавочником цветных шелков к серо-черному муслиновому платью, которое требовалось надставить, когда в лавку вошел высокий, похожий на Дон-Кихота старик и спросил шерстяные перчатки. Я никогда прежде его не видела (внешность у него была запоминающаяся) и потому продолжала на него посматривать, пока мисс Мэтти говорила с приказчиком. На незнакомце был синий сюртук с медными пуговицами, серые панталоны и гетры, и он нетерпеливо барабанил пальцами по прилавку. Когда он ответил на вопрос молодого приказчика: «Что прикажете показать вам, сударь?» — мисс Матильда, вздрогнув, опустилась на стул, и я сразу догадалась, кто он такой. Она что-то спросила у приказчика, и он крикнул своему товарищу:

— Мисс Дженкинс требуется подкладочный шелк по два шиллинга два пенса за ярд.

Услышав эту фамилию, мистер Холбрук во мгновение ока очутился рядом с нами.

— Мэтти... мисс Матильда... мисс Дженкинс! Боже ты мой! Вот уж не узнал бы вас! Как поживаете? Как поживаете? — Он тряс ее руку с жаром, говорившим об искренней радости, но все повторял, словно про себя: «Вот уж, не узнал бы вас!» И я поняла, что счастливому концу сентиментального романа, который, быть может, рисовался моему воображению, сбыться не суждено.

Однако он продолжал разговаривать с нами все время, пока мы оставались в лавке, а затем, отмахнувшись от приказчика, державшего так и не купленные перчатки («В другой раз, любезный, в другой раз!»), проводил нас до дома. С удовольствием могу сказать, что моя подопечная, мисс Матильда, покинула лавку в не менее растерянном состоянии, так и не купив ни зеленого, ни красного шелка. Мистер Холбрук от души и словоохотливо радовался, встрече со своей бывлой возлюбленной; он говорил о происшедших переменах, он даже упомянул мисс Дженкинс: «Ваша бедная сестра! Ну-ну, у нас всех есть свои недостатки» — и распрощался с нами, несколько раз выразив надежду, что скоро вновь увидится с мисс Мэтти. Она же прямо поднялась к себе в спальню и вышла только к чаю, который мы, правда, пили рано. Поглядев на ее лицо, я решила, что она, должно быть, плакала.

## ГЛАВА IV

### ВИЗИТ К СТАРОМУ ХОЛОСТЯКУ

Несколько дней спустя от мистера Холбрука пришло письмо, в котором он в старомодных церемонных выражениях приглашал нас — нас обеих, не делая никакого различия, — провести у него день, долгий июньский день (был уже июнь). Он сообщал, что, кроме нас, пригласил свою кузину мисс Пул, так что мы могли бы вместе нанять извозчика, который и довезет нас до его дома.

Я полагала, что мисс Мэтти с восторгом примет это приглашение, однако мне и мисс Пул лишь с величайшим трудом удалось убедить ее поехать. Она опасалась, что это не совсем ловко, и даже почти рассердилась, когда мы не пожелали усмотреть ничего неловкого в том, что она в обществе двух других дам навестит своего бывшего поклонника. Затем она выдвинула более серьезное возражение: по ее мнению, это не понравилось бы Деборе. Мы уговаривали и убеждали ее добрую половину дня, и едва она как будто начала сдаваться, я тотчас же воспользовалась ее колебаниями и, чтобы покончить с этим раз и навсегда, немедленно отправила согласие от ее имени, указав день и час.

На следующее утро она попросила меня сходить с ней в лавку, и там после долгих раздумий мы отобрали три чепца и попросили прислать их к нам домой, чтобы там примерить их на свободе и отобрать для четверга тот, который окажется больше к лицу.

Всю дорогу до Вудли мисс Мэтти пребывала в безмолвном волнении. Она никогда еще там не бывала, насколько я поняла, — ей и в голову не приходило, что мне известна история ее юности, — и нетрудно было заметить, с каким трепетом ожидала она той минуты, когда увидит место, которое могло бы стать ее домом и вокруг которого, наверное, сплетались ее девичьи невинные мечты. Мы долго ехали туда по проселочным дорогам. И все это время мисс Матильда сидела выпрямившись и грустно смотрела в окошко кареты на мирный сельский пейзаж. Вудли был окружен полями. Дом стоял среди старомодного сада, где розы росли вперемежку со смородиной, а перистые листья спаржи служили прелестным фоном для гвоздик и левкоев. Подъездной аллеи не было, и, выйдя у калитки, мы пошли к крыльцу по прямой, обсаженной кустами дорожке.

— Право же, мой кузен мог бы устроить подъездную аллею! —



заметила мисс Пул. Она всегда боялась простудить уши; а сейчас ее голову защищал только легкий чепец.

— По-моему, это прелестная дорожка, — чуть жалобно сказала мисс Мэтти, понизив голос почти до шепота, потому что на крыльцо как раз вышел мистер Холбрук, потирая руки с самым гостеприимным видом. Он показался мне похожим на Дон-Кихота даже еще больше, чем прежде, но это сходство было лишь внешним. Его почтенная экономка со скромной приветливостью встретила нас в дверях. Она проводила моих спутниц наверх в спальню, а я попросила разрешения осмотреть сад. Моя просьба, по-видимому, была приятна старику, и он повел меня по всей усадьбе, не преминув показать двадцать жесть своих коров, — кличками которым служили буквы алфавита. Он то и дело удивлял меня, цитируя весьма к месту прекрасные строки самых разных поэтов, начиная от Шекспира и Джорджа Герберта<sup>[19]</sup> и кончая нашими современниками. Он делал это совершенно естественно, так, словно думал вслух, а их верные и возвышенные слова лучше всего подходили для выражения его мыслей и чувств. Правда, Байрона он называл «милорд Бейрон», а фамилию Гете произнес в строгом соответствии с ее немецким, написанием «Готте» («как говорит Готте, «вечно зеленые дворцы...» и т. д.). Короче говоря, мне ни до, ни после не доводилось встречать, человека, который, — прожив всю долгую жизнь в однообразии сельского уединения, сохранил бы столь неиссякаемую способность восхищенно любоваться красотой природы в ее вечных изменениях ото дня ко дню, от одного времени года к другому.

Когда мы с ним вернулись в дом, обед уже ожидал нас на кухне — не знаю, как иначе назвать эту комнату, где справа и слева от камина вдоль стен стояли дубовые шкафы и лари, а пол был каменным, хотя середину его и закрывал небольшой турецкий ковер. Это помещение было бы нетрудно превратить в красивую, обшитую темным дубом столовую — стоило лишь убрать плиту и другие кухонные приспособления, которыми к тому же давно уже не пользовались, так как настоящая кухня находилась в пристройке. Предполагалось, что после обеда мы удалимся в безобразную залу, обставленную тяжелой неудобной мебелью, но удалились мы в комнату, которую мистер Холбрук называл своей конторой, — тут он еженедельно выдавал жалованье своим батракам, сидя за большим письменным столом у двери. Эту очаровательную гостиную (окна ее выходили в фруктовый сад и везде — на стенах, и на полу — танцевали тени веток) заполняли книги. Они лежали на полу, ряды их тянулись по стенам, стол был ими завален. Мистер Холбрук, несомненно, гордился таким их изобилием и немного его стеснялся. Тут можно было найти все

жанры, хотя преобладали стихи и страшные романы. Судя по всему, он выбирал книги в согласии с собственным вкусом, а не потому, что они слыли шедеврами или принадлежали перу признанных классиков.

— Нам, фермерам, — сказал он, — вроде бы не пристало тратить время на чтение, но без этого как-то нельзя обойтись.

— Какая прелестная комната, — сказала мисс Мэтти *sotto voce*.

— Как тут приятно! — сказала я вслух почти одновременно с ней.

— Ну, если вам тут нравится... — сказал он. — Только удобно ли вам будет сидеть на этих треугольных кожаных стульях? Мне-то она нравится больше парадной комнаты, но я думал, что для дам та больше подходит.

Та комната, бесспорно, заслуживала названия парадной, но подобно всему, что парадно, она не была ни приятной, ни удобной, ни уютной. А потому, пока мы обедали, служанка как следует протерла черные кожаные стулья в конторе, и там мы провели остальную часть дня.

Пудинг нам подали перед жарким, и я было решила, что мистер Холбрук собирается принести извинения за свою старомодность, так как он сказал:

— Не знаю, может быть, вам нравятся модные обычаи...

— О, вовсе нет! — ответила мисс Мэттк.

— Мне вот они тоже не нравятся, — продолжал он. — Но моя экономка все переворачивает по-нынешнему, хоть я и говорю ей, что смолоду привык следовать правилу моего отца: «Не съешь суп — не получишь клецок, не съешь клецки — не получишь говядины». У нас в семье всегда начинали обед с супа. Потом мы ели пудинг с салом, сваренный на мясном бульоне, а уж только потом мясо. Если мы не съедали за ужином суп, то не получали клецок, которые нам нравились куда больше. А жаркое давалось на заедку, и только тем, кто как следует разделается с супом и клецками. Нынче же пошла мода начинать со сладкого, и обед точно наизнанку вывертывают.

Когда подали утку с зеленым горошком, мы в отчаянии переглянулись — у наших приборов лежали только двузубые вилки с темными роговыми ручками. Правда, их сталь сверкала, как серебро, но что нам было делать? Мисс Мэтти ела горошинки по одной, насаживая их на зубцы — точно Амина<sup>[20]</sup> зернышки риса, после пира с вурдалаком. Мисс Пул со вздохом отодвинула нежный молодой горошек к краю тарелки, почти его не попробовав — он упорно проваливался между зубьев, как она ни старалась. Я поглядела на нашего хозяина — горошек стремительно исчезал в его обширном рту, подхватываемый закругленным концом широкого ножа. Я увидела, я последовала кощунственному примеру, я осталась жива и

здорова! У моих друзей, несмотря на созданный мной прецедент, все-таки не хватило духа настолько претупить правила хорошего тона, и если бы мистер Холбрук не был столь голоден, он, возможно, заметил бы, что его отличный горошек остался почти нетронутым.

После обеда ему принесли глиняную трубку и пепельницу, а он, попросив нас, если нам неприятен табачный дым, удалиться в соседнюю комнату, где он вскоре к нам присоединится, протянул трубку мисс Мэтти, чтобы она ее набила. В дни его юности такая просьба считалась честью для дамы, к которой она была обращена, однако адресовать подобную любезность мисс Мэтти было, пожалуй, не слишком уместно, так как старшая сестра приучила ее относиться к курению с величайшей брезгливостью и отвращением. Впрочем, если ее благовоспитанность и была возмущена, ей тем не менее польстило такое предпочтение, а потому она изящно набила трубку крепким табаком, после чего мы удалились в контору.

— Как приятно обедать у холостяка! — вполголоса сказала мисс Мэтти, когда мы расположились там. — Надеюсь только, что в этом нет ничего неприличного. Ведь все, что приятно, почти всегда неприлично!

— Сколько у него книг! — воскликнула мисс Пул, оглядывая комнату. — И до чего же они пыльные!

— Мне кажется, в таких же комнатах обитал великий доктор Джонсон, — сказала мисс Мэтти. — Какой, наверное, образованный человек ваш кузен!

— Да, — согласилась мисс Пул. — Читает он много, но, боюсь, живя в одиночестве, он очень огрубел.

— Ах, «огрубел» — слишком суровое слово. Я бы назвала его эксцентричным; очень умные люди всегда эксцентричны, — возразила мисс Мэтти.

Когда мистер Холбрук опять присоединился к нам, он предложил прогуляться по лугам, но мисс Мэтти и мисс Пул обе опасались сырости и грязи, да и старомодные капюшоны на обручах, которыми им пришлось бы прикрыть чепцы, не отличались изяществом, а потому они отказались, и я вновь оказалась его единственной спутницей, так как ему, объяснил он, нужно было посмотреть, чем заняты его работники. Он шел широким шагом и молчал, не то совершенно забыв о моем присутствии, не то умиротворенный своей трубкой. И все-таки это не было молчанием в собственном смысле слова. Он шел немного впереди меня, сутулясь, заложив руки за спину, и когда его внимание привлекало какое-нибудь дерево, облако или встающая вдали зеленая гряда холмов, начинал звучным

голосом декламировать стихи с той выразительностью, какую рождает лишь истинное чувство прекрасного. Мы приблизились к старому кедру, осенявшему угол дома.

— «Кедр распростер покровы темно-зеленой тени». Великолепно выражено — «покровы»! Удивительный поэт!

Я не знала, обращается ли он ко мне или нет, однако согласилась — «удивительный!», хотя даже не знала, о ком идет речь: мне надоело, что меня не замечают и из-за этого я принуждена молчать.

Он быстро обернулся ко мне.

— Это вы правильно сказали — удивительный. Да, когда я прочел в «Блэквудс»<sup>[21]</sup> статью о его стихах, и часу не прошло, как я отправился за семь миль пешком в Милстон (лошадей свободных не было) и сразу же заказал эту книгу. Вот скажите, какого цвета бывают в марте почки вяза?

«Наверное, он сошел с ума! — подумала я. — До чего же он похож на Дон-Кихота!»

— Так какого же они цвета? — повторил он с жаром.

— Право, не знаю, сэр, — ответила я, смиренно признаваясь в своем невежестве.

— Конечно, не знаете. И я не знал, — старый дурак! — пока не явился этот молодой человек и не сказал мне: «Черны, как почки вяза в марте». А я ведь всю жизнь прожил в деревне — тем более должно мне быть стыдно. Черные! Они черны как смоль, сударыня.

И он снова зашагал вперед в такт музыке каких-то стихов, которые пришли ему на память.

Когда мы вернулись, он во что бы то ни стало захотел прочесть нам все стихи, о которых говорил мне. Мисс Пул поддержала его в этом намерении, — наверное, потому, решила я, что ей хочется, чтобы я услышала прекрасное чтение, которое она так расхваливала; однако позже она объяснила, что добралась в своем вязании до трудного места и хотела считать петли, а не разговаривать. Мисс Мэтти одобрила бы любое его намерение, что, впрочем, не помешало ей крепко уснуть через пять минут после того, как он начал читать поэму, озаглавленную «Замок Локсли»,<sup>[22]</sup> и сладко дремала, пока он не кончил. Когда же он умолк и внезапная тишина ее разбудила, она, почувствовав, что следует что-то сказать, и заметив, что мисс Пул считает петли, воскликнула:

— Какие миленькие стихи!

— Миленькие, сударыня? Они великолепны! Подумать только — миленькие!

— О да! Я и хотела сказать — великолепные, — поправились она, испугавшись неодобрения, которое вызвало у него это слово. — Они так похожи на великолепную поэму доктора Джонсона, которую часто читала моя сестра... я забыла ее название. Как же она называлась, милочка? — обратилась она ко мне.

— Про какую вы говорите, сударыня? О чем она?

— Я не помню, о чем она, и забыла ее название, но ее написал доктор Джонсон, и она очень красива и очень похожа на ту, которую нам сейчас прочел мистер Холбрук.

— Я что-то ее не вспоминаю, — задумчиво сказал он. — Правда, я плохо знаю стихи доктора Джонсона. Надо будет почитать их.

Когда мы садились в карету, я услышала, как мистер Холбрук обещал, что скоро навестит своих гостей, чтобы узнать, хорошо ли они доехали, и это, по-видимому, обрадовало и взволновало мисс Мэтти. Но когда старый дом скрылся за деревьями, чувства, которые внушал ей его хозяин, были заслонены тягостными опасениями — вдруг Марта нарушила слово и, воспользовавшись отсутствием хозяйки, пригласила к себе «дружка». Когда Марта вышла встретить нас, вид у нее был достаточно добродетельный, надежный и спокойный, но она всегда тревожилась за мисс Мэтти и в этот вечер приветствовала ее следующей малоуместной речью:

— Господи, сударыня, как же это вы вечером, да в такой тонкой шали! Она ведь греет не больше муслина. В вашем возрасте, сударыня, надобно беречься.

— В моем возрасте! — повторила мисс Мэтти тоном, который для нее был почти сердитым, так как она всегда говорила очень мягко. — В моем возрасте! Да сколько, по-вашему, мне лет, если вы упоминаете про мой возраст?

— Да что же, сударыня, я бы сказала, что вам под шестьдесят, только ведь люди иной раз выглядят старше, чем есть, а я же ничего дурного не думала.

— Марта, мне еще не исполнилось и пятидесяти двух, — торжественно произнесла мисс Мэтти. Возможно, последний день живо напомнил ей юность, и мысль о том, что это золотое время уже так далеко в прошлом, показалась ей особенно горькой.

Но она ни разу не упомянула о давнем и более близком своем знакомстве с мистером Холбруком. Наверное, ее любовь встретила когда-то так мало сочувствия, что она замкнула ее в тайниках души, и, только невольно наблюдая за ней с тех пор, как мисс Пул открыла мне ее тайну, я могла подметить, что ее бедное сердце в печали и безмолвии хранило

незыблемую верность.

Каждый день она убедительно объясняла мне, почему ей следует надеть парадный чепец, и, забывая про ревматизм, садилась неподалеку от окна, чтобы видеть улицу, оставаясь невидимой.

И он приехал. Он уперся ладонями в широко расставленные колени и, когда мы ответили на его расспросы о том, как мы доехали, опустил голову, негромко насвистывая.

Внезапно он вскочил.

— Нет ли у вас, сударыня, каких-нибудь поручений в Париж? Я ведь туда отправляюсь через неделю-другую.

— В Париж! — воскликнули мы хором.

— Да, сударыня. Я там никогда не бывал, хотя всегда хотел туда съездить, ну, и подумал, что если сейчас не соберусь, так уж никогда там и не побываю. Вот уберем сено, я и отправлюсь, чтобы успеть вернуться до начала жатвы.

Мы были так поражены, что не могли придумать никакого поручения.

Уже выходя из комнаты, он вдруг обернулся с излюбленным своим восклицанием:

— Боже ты мой, сударыня! Ведь совеем было позабыл! Вот стихи, которые вам так понравились в тот вечер у меня. — Он вытащил из кармана пакет. — До свиданья, мисс, — сказал он мне, — до свиданья, Мэтти! Берегите себя! — И он ушел. Но он привез ей книгу, и он назвал ее Мэтти, как называл тридцать лет назад.

— Лучше бы он не ездил в Париж, — сказала мисс Матильда с тревогой. — Боюсь, как бы лягушки ему не повредили, он ведь всегда был очень разборчив в еде — это даже казалось странным в таком здоровом молодом человеке.

Вскоре после этого я уехала, много раз повторив Марте, чтобы она берегла свою хозяйку и тут же известила меня, если мисс Матильде будет нездоровиться: тогда я попрошу разрешения навестить ее, не упоминая, разумеется, о сведениях, полученных от Марты.

Выполняя мою просьбу, Марта время от времени посылала мне одну-две строчки, и примерло в ноябре я получила письмецо, в котором говорилось, что ее хозяйка «совсем извелась и ничего не кушает». Это так меня встревожило, что я тут же собралась и поехала в Крэнфорд, хотя Марта меня об этом не просила.

Меня приняли очень сердечно, несмотря на волнения и хлопоты, которые вызвал мой неожиданный визит (я ведь могла предупредить о своем приезде лишь за день). Вид у мисс Матильды был совсем больной, и

я приготовилась всячески за ней ухаживать.

Но сначала я спустилась в кухню, чтобы поговорить с Мартой наедине.

— Давно ваша хозяйка недомогает? — спросила я, остановившись у плиты.

— Да, пожалуй, — больше двух недель будет. Это я хорошо помню. Во вторник приходила к ней мисс Пул, а как она ушла, так хозяйка и загрустила. Я думала, она устала и за ночь все пройдет. Только нет, с тех пор она чахнет и чахнет — вот я и решила, что мне следует написать вам, сударыня.

— Вы поступили, как следовало, Марта. Для меня большое утешение, что возле нее есть такой верный человек. Надеюсь, вам это место нравится.

— Что же, сударыня, хозяйка-то очень добрая, и есть и пить можно вволю, да и работа легкая, вот только... — Марта нерешительно умолкла.

— О чем вы, Марта?

— Да вот хозяйка и слышать не хочет, чтобы я завела себе дружка. А тут полно молодых парней, и многие не прочь водить со мной компанию. Да и придется ли мне еще когда жить в городе... ну, просто жалость, что такой случай зря пропадает. Другие-то не посмотрели бы на хозяйку, да и устроили бы все так, что она ничего и не знала бы, только я дала слово и уж его не нарушу. И ведь дом-то такой, что води кого хочешь, а хозяйке бы и невдомек — кухня большая, темных закоулков полно, хоть кого спрятать можно. Я прикинула в прошлое воскресенье... чего уж тут: я весь вечер проплакала, потому что пришлось мне захлопнуть дверь перед носом у Джема Хирна, а ведь он не вертопрах какой-нибудь, с ним любой девушке водиться не зазорно, да только я дала хозяйке слово...

Марта снова чуть не расплакалась, а я ничем не могла ее утешить, так как по прошлому опыту знала, какой ужас обе мисс Дженкинс питали к «дружкам», и нынешнее нервное состояние мисс Матильды не оставляло надежды на то, что ужас этот может уменьшиться.

На следующий день я отправилась к мисс Пул и очень удивила ее своим появлением, так как она не заглядывала к мисс Матильде уже два дня.

— А теперь я пойду проводить вас, милочка, потому что обещала извещать ее, как себя чувствует Томас Холбрук, а сегодня — это так грустно! — его экономка прислала мне записку, что жить ему остается недолго. Бедный Томас! Эта поездка в Париж оказалась ему не по силам. Его экономка говорит, что он после возвращения и на полях почти не бывал — сидит в конторе, упершись руками в колени, и не читает ничего, а только повторяет: какой Париж чудесный город! Парижу придется за многое

ответить, если он убил кузена Томаса, — ведь лучше его на свете человека нет.

— А мисс Матильда знает про его болезнь? — спросила я, начиная догадываться о причине ее недомогания.

— Да конечно же! Разве она вам ничего не говорила? Я ей сразу сообщила, недели две тому назад, как только сама узнала. Странно, что она вам ничего не сказала!

Вовсе нет, подумала я, но промолчала. Мне было стыдно, что любопытство толкнуло меня заглянуть в это нежное сердце, и я не собиралась разглашать его тайны, которые, как полагала мисс Мэтти, были скрыты от всего мира. Я проводила мисс Пул до маленькой гостиной мисс Матильды и оставила их одних. И я не удивилась, когда ко мне в спальню постучала Марта и предупредила, что я буду обедать одна — у хозяйки опять разболелась голова. Мисс Мэтти спустилась в гостиную к чаю, но, видимо, это стоило ей больших усилий, и, словно желая искупить дурное чувство, с каким она, наверное, весь день вспоминала свою покойную сестру мисс Дженкинс, в чем теперь горячо раскаивалась, она долго и подробно рассказывала мне, как добра и как умна была Дебора в юности, как она решала, какие платья им следует надеть на званый вечер (призрачный, зыбкий образ тоскливых званых вечеров в далеком-далеком прошлом, когда мисс Мэтти и мисс Пул были юными девушками!), и как Дебора вместе с их матушкой создала общество помощи беднякам и обучала девочек стряпне и шитью, и как Дебора однажды танцевала с лордом, и как она гостила у сэра Питера Арли, а потом пыталась поставить скромный дом священника на ту же ногу, что и Арли-Холл, где держали тридцать слуг, и как она ухаживала за мисс Мэтти во время долгой болезни, о которой я прежде ничего не слыхала, но которую теперь мысленно отнесла ко времени, последовавшему за отказом мистеру Холбруку. Вот так мы весь долгий ноябрьский вечер вполголоса говорили о былых временах.

На следующий день мисс Пул пришла сказать, что мистер Холбрук скончался. Мисс Мэтти выслушала ее молча — ведь после того, что она рассказала нам накануне, мы ничего другого ждать и не могли. Мисс Пул упорно добивалась от нас слов сожаления, спрашивая, не грустно ли это, то и дело повторяя:

— Только вспомнить этот чудный июньский день, когда он казался таким здоровым! И он мог бы прожить еще двадцать лет, если бы не уехал в этот мерзкий Париж, где они все время устраивают революции.

Она умолкла, ожидая, не скажем ли мы чего-нибудь. Я увидела, что мисс Мэтти не в силах произнести ни слова — она вся дрожала, — а



потому я сказала то, что чувствовала на самом деле, и, посидев еще довольно долго (не сомневаюсь, все это время мисс Пул думала о том, как спокойно приняла мисс Мэтти ее новость), наша гостья наконец удалилась.

Мисс Мэтти приложила все старания, чтобы скрыть свои чувства — даже от меня — и больше никогда не упоминала мистера Холбрука, хотя книга, которую он ей привез, лежит на столике возле ее кровати рядом с Библией. Она полагает, что я не слышала, как она попросила крэнфордскую модистку переделать ее чепцы так, чтобы они стали похожи на чепцы миссис Джеймисон, и не обратила; внимания на ответ:

— Но она же носит вдовьи чепцы, сударыня!

— Да? Я имела в виду только фасон... не вдовый, конечно, а такой, как у миссис Джеймисон.

Именно эти усилия породили нервное подергивание головы и рук, которое я с этих пор стала замечать у мисс Мэтти.

Весь вечер того дня, когда мы узнали о кончине мистера Холбрука, мисс Матильда была молчалива и задумчива. После молитвы она снова позвала Марту, но, казалось, не знала, что ей сказать.

— Марта! — произнесла она наконец. — Вы молоды... — и умолкла, так что Марта, чтобы напомнить ей, о чем она начала говорить, сделала книксен и сказала:

— Да, сударыня, с вашего разрешения. В прошлый октябрь, сударыня, мне сравнялось двадцать два года.

— И может быть, Марта, в один прекрасный день вы встретите молодого человека, который вам понравится и которому вы понравитесь. Я, правда, сказала, чтобы вы не заводили дружков, но если вы встретите такого молодого человека и скажете мне и я увижу, что он достойный молодой человек, я позволю, чтобы он навещал вас раз в неделю. Не дай бог, — продолжала она тихо, — чтобы я причинила горе юным сердцам.

Она говорила так, словно разрешала затруднения, которые могут возникнуть в далекою будущем, а потому несколько растерялась, когда Марта радостно затараторила:

— С вашего разрешения, сударыня, вот Джем Хирн — он плотник, зарабатывает в день три шиллинга шесть пенсов, и в нем росту без башмаков шесть футов один дюйм, с вашего разрешения, сударыня. И если вы утречком наведете о нем справки, вам все скажут, что он не вертопрах какой-нибудь, а уж он-то как рад будет прийти сюда завтра вечером!

Хотя мисс Мэтти и была ошеломлена, она покорила Судьбе и Любви.

## ГЛАВА V

### СТАРЫЕ ПИСЬМА

Я часто замечала, что почти всем людям свойственна привычка экономить на тех или иных мелочах, тщательно сберегая какую-то ничтожную долю пенса, причем всякая неудача в этом вызывает горькую досаду, хотя тот же человек способен бросать шиллинги или даже фунты на самые пустые затеи. Я знавала одного пожилого джентльмена, который со стоической невозмутимостью принял известие о банкротстве акционерного банка, где хранилась часть его капитала, но весь долгий летний день пилил своих семейных за то, что кто-то из них вырвал (а не аккуратно отрезал) исписанные листки из его ставшей теперь бесполезной банковской книжки. Ведь в результате из нее выпало и несколько чистых листков, и этот ненужный расход бумаги (экономия которой была его коньком) расстроил его гораздо больше потери денег. Когда в употребление вошли конверты, они превратились для него в источник вечных мучений, и он несколько смирился с таким переводом возлюбленного своего материала, только когда ему удавалось ценой долгого и кропотливого труда вывернуть наизнанку конверт от полученного им письма, дабы его можно было использовать вновь. Даже теперь, когда годы несколько его укротили, он печально поглядывает на дочерей, если они, принимая приглашение, пишут ответные три строчки на целой чистой странице, а не на половинке. Должна признаться, что такая слабость свойственна и мне. Моя страсть — веревочки. Мои карманы всегда набиты клубочками бечевки, подобранных и свернутых, чтобы использовать их при случае, который никогда не представляется. Меня очень раздражает, если веревочку на пакете разрезают, вместо того чтобы терпеливо и аккуратно распутать каждый узел. А как хватает у людей духа с такой небрежностью пользоваться резиновыми кольцами, которые представляют собой, так сказать, обожествленные веревочки, я, право, не в силах понять. Для меня резиновое колечко — это бесценное сокровище. У меня хранится такое кольцо, далеко не новое — я подобрала его с пола почти шесть лет назад. Честное слово, я несколько раз пыталась применить его к делу, но у меня так и не хватило духа позволить себе подобное мотовство.

Кое-кого огорчают крохотные кусочки масла. Они перестают следить за разговором, злясь на привычку некоторых людей обязательно брать

масла больше, чем им требуется. Вы не замечали тревожного (почти гипнотического) взгляда, который подобные люди устремляют на такой кусочек? С каким облегчением они, если бы могли, убрали бы его с глаз долой, сунув в собственный рот и проглотив! И они испытывают глубочайшее облегчение, если тот, на чьей тарелке покоится злополучный кусочек, внезапно отламывает корочку жареного хлеба (хотя вовсе его не хочет) и доедает свое масло. Во всяком случае, это не напрасный расход.

А мисс Мэтти Дженкинс берегла свечи. У нас было много способов, позволявших употреблять их как можно меньше. Она часами продолжала вязать в ранние зимние вечера (она умела делать это и в темноте, и при свете камина), а когда я просила разрешения зажечь свечи, чтобы закончить манжеты, которые подрубала, она говорила что будет гораздо приятнее «посумерничать». Свечи обычно появлялись в комнате вместе с чаем, но зажигались они по одной. Так как мы жили в постоянном ожидании знакомых, которые могли зайти в любой вечер (но никогда не заходили), требовалась некоторая сноровка, чтобы наши свечи всегда были одинаковой длины и можно было бы сделать вид, будто они всегда горят у нас обе. Поэтому без гостей они горели по очереди, и чем бы мы ни занимались, о чем бы ни говорили, мисс Мэтти не спускала глаз с горящей свечи, готовая в нужную минуту погасить ее и зажечь другую, прежде чем длина их окажется настолько разной, что им уже не удалось бы выровняться до конца вечера.

Как-то вечером эта экономия свечей особенно меня раздражала. Мне очень надоело сидеть и «сумерничать», хочу я того или нет, тем более что мисс Мэтти задремала и я боялась разбудить ее, начав мешать уголь в камине, а потому я не могла даже сесть на коврик у огня и, поджариваясь, шить при его свете, как делала обычно. Мне показалось, что мисс Мэтти видит во сне свою юность, так как она раза два бормотала слова, касавшиеся тех, кто давно уже умер. Когда Марта принесла зажженную свечу и чай, мисс Мэтти, вздрогнув, проснулась и посмотрела вокруг недоуменным взглядом, точно ожидала увидеть совсем не нас. Ее лицо омрачила легкая грусть, когда она узнала меня, но она тут же попыталась улыбнуться мне, как всегда. Пока мы пили чай, она говорила о своем детстве и молодости. Быть может, это-то и напомнило ей, что следовало бы просмотреть старые семейные письма и уничтожить те из них, которые не предназначались для чужих глаз, — она часто говорила, что пора бы заняться письмами, но все не бралась за них, словно страшась той боли, которую может причинить такое чтение. Однако в этот вечер она после чая встала и пошла за ними — в темноте, так как гордилась тем, что у каждой

вещи в ее доме было свое неизменное место, и всегда поглядывала на меня с неодобрением, если я выходила из своей спальни с зажженной свечой, чтобы взять что-нибудь в соседней комнате. Когда она вернулась, по комнате распространился легкий приятный запах тонкинских бобов. Этот запах я замечала у всех вещей, которые принадлежали ее матери, а многие письма были адресованы ей — пожелтевшие пачки любовных писем шестидесяти-семидесятилетней давности.

Мисс Мэтти развязала ленту со вздохом, но тут же его подавила, словно не полагалось сожалеть о том, как быстро проходит время и сама жизнь. Мы согласились, что будет лучше, если мы будем просматривать их отдельно, беря по письму и в одной и той же пачки и пересказывая содержание друг другу, прежде чем его уничтожить. До этого вечера я не представляла себе, какой это скорбный труд — читать старые письма, хотя не берусь объяснить, почему. Сами письма были настолько радостными, насколько могут быть письма — во всяком случае, эти первые. Их преисполняло яркое и живое ощущение настоящего времени, такое сильное и всепроникающее, словно время это не могло миновать, а теплые бьющиеся сердца, запечатлевшиеся на этих страницах, не могли умереть и бесследно исчезнуть с солнечного лика земли. Мне кажется, я не испытывала бы такой грусти, если бы в письмах ее было, больше. Я заметила, что по морщинистым щекам мисс Мэтти скатываются слезинки и она часто протирает очки. И во мне проснулась надежда, что уж теперь-то она зажжет вторую свечу — ведь слезы застилали и мои глаза, а при свете второй свечи было бы легче разбирать бледные, выцветшие строчки. Но нет! Даже слезы не заставили ее забыть о бережливости.

Первые письма хранились в двух пачках, связанных вместе и снабженных пометкой (почерком мисс Дженкинс): «Письма, которыми обменивались мой досточтимый отец и нежно любимая матушка перед тем, как они вступили в брак в июле 1774 года». Крэнфордскому священнику, по моим подсчетам, было тогда лет двадцать семь, а мисс Мэтти сказала мне, что ее мать вышла замуж восемнадцати лет. Я хорошо представляла себе покойного священника по его портрету в столовой, на котором он был изображен чопорным, величественно прямым, в огромном парике, в полном облачении и в мантии, а его рука опиралась на единственную опубликованную им проповедь — и теперь мне было как-то странно читать эти письма. Они были исполнены пылкой юной страсти — короткие безыскусственные фразы, только что продиктованные сердцем, совсем не похожие на пышный латинизированный джонсоновский стиль напечатанной проповеди, которую он произнес перед лондонским судьей,

совершавшим объезд округа. Эти письма представляли любопытный контраст с письмами его юной невесты. Ей, по-видимому очень досаждало, что он требует от нее выражений любви и она не совсем понимала, зачем он все время повторяет по-разному одно и то же. Но зато она весьма ясно излагала свое горячее желание иметь белое «падуасуа»<sup>[23]</sup> (чем бы это ни было), и шесть или семь писем содержали главным образом просьбы, чтобы ее возлюбленный пустил в ход свое влияние на ее родителей (которые, очевидно, держали ее в ежовых рукавицах), дабы они купили ей такой-то и такой-то наряд, а главное — белое «падуасуа». Его совсем не заботило, как она одета: ему она всегда представлялась очаровательной, в чем он старательно ее и заверял, когда она просила, чтобы он в своем ответе упомянул, что ему особенно нравятся вот такие фасоны, а она покажет его письмо родителям. Однако в конце концов он как будто понял, что она не согласится назначить день свадьбы, пока не сошьет себе *trousseau*<sup>[24]</sup> по своему вкусу, и прислал ей письмо, которое, судя по всему, сопровождало большой сундук со всевозможными нарядами и украшениями и в котором он просил, чтобы она оделась так, как ей хочется. Это было первое письмо с пометкой тонким изящным почерком «от моего дорогого Джона». Вскоре после этого они поженились — во всяком случае, об этом свидетельствовал, как я решила, — перерыв в их переписке.

— Мы должны их сжечь, я полагаю, — сказала мисс Мэтти, нерешительно поглядывая на меня. — Кому они будут нужны, когда меня не станет?

И одно за другим она начала бросать их в пылающий огонь, дожидаясь, чтобы каждое вспыхнуло, сгорело и улетело в трубу легким белым пеплом, и лишь затем обрекая на ту же судьбу следующее. В комнате теперь стало достаточно светло, но я, как и она, заворуженно следила за гибелью этих писем, заключавших искренний жар честного мужественного сердца.

Далее следовало письмо тоже с пометкой мисс Дженкинс: «Письмо с благочестивыми поздравлениями и наставлениями от моего почтенного деда моей возлюбленной матушке по поводу моего рождения. А также несколько практических советов о желательности содержания конечностей новорожденных младенцев в тепле от моей добросердечной бабушки».

Первая часть действительно заключала в себе суровую и проникновенную картину материнских обязанностей и предостережения против зол этого мира, которые грозно подстерегают двухдневного ребенка.

Жена его ничего не пишет, добавил старый джентльмен, ибо он ей это запретил, так как нездоровье, вызванное вывихнутой лодыжкой, не позволяет ей (заявил он) держать в руке перо.

Однако в самом низу страницы стояло крохотное «перевернуть», и на обороте действительно оказалось письмо к «моей милой, милой Молли» с просьбой, чтобы она, выйдя из своей комнаты в первый раз, ради всего святого, поднялась бы по лестнице вверх, а ни в коем случае не спустилась бы вниз, и с советом укутывать ножки малютки во фланель и греть ее у огня, хотя сейчас и лето, потому что младенцы такие слабенькие.

Было очень трогательно наблюдать по письмам, которыми молодая мать, по-видимому, постоянно обменивалась с бабушкой, как любовь к ребенку изгоняет из ее сердца девическое тщеславие. В них опять начало фигурировать белое «падуасуа», вновь заняв весьма видное место. В одном оно было перешито в крестильный наряд для младенца. Оно украшало малютку, когда она вместе с родителями отправилась погостить день-другой в Арли-Холле. Оно делало ее еще прелестней, когда она была «самой прилестной крошкой на всем свете. Милая матушка, если бы вы видели ее! Скажу безпрестрасно, она обещает вырасти настоящей красавицей!». Я вспомнила мисс Дженкинс, седую, морщинистую, иссохшую, и подумала, а узнала ли ее мать среди райских кущей. И тут же почувствовала, что да, узнала и что они предстали там друг другу в ангельском обличий.

Письма священника появились вновь только после большого перерыва. И его жена метила их уже по-другому — не от «моего дорогого Джона», но от «моего досточтимого супруга». Письма писались по случаю издания той самой проповеди, которая была изображена на портрете. Эта проповедь, произнесенная «перед его честью верховным судьей», а затем «изданная по желанию прихожан», была, по-видимому, кульминацией, центральным событием всей его жизни. Ему пришлось поехать в Лондон, чтобы проследить за тем, как ее будут печатать. Он посетил многих друзей и советовался со всеми ними, прежде чем решил, какому типографу можно поручить столь важное дело, и в конце концов почетная обязанность была возложена на Дж. и Дж. Ривингтонов. Этот торжественный случай, по-видимому, пробудил в достойном священнослужителе особое литературное вдохновение, так как во всех его письмах к жене непременно появлялась латынь. Одно из них, я помню, кончалось так: «И я вечно храню в памяти добродетели моей Молли, *dum memor ipse mei, dum spiritus regit artus*»,<sup>[25]</sup> что, принимая во внимание не слишком гладкий стиль и нередкие орфографические ошибки той, кому он писал, неопровержимо доказывает,

насколько он «идеализировал» свою Молли, а, как говаривала мисс Дженкинс: «Нынче люди постоянно твердят об идеализировании, что бы это слово ни значило». Но и это было пустяками по сравнению с латинскими виршами, которые ему вдруг пришла охота сочинять и в которых Молли неизменно фигурировала как «Мария». Письмо с *carmen*<sup>[26]</sup> было снабжено ее пометкой: «Древнееврейские стихи, присланные мне моим досточтимым супругом, когда я ожидала письма, колоть ли свинью, но придется подождать. Не забыть послать эту поэму сэру Питеру Арли, как желает мой супруг». В приписке, сделанной его рукой, указывалось, что она была напечатана в «Журнале для джентльменов» за декабрь 1782 года.

Ее письма мужу (которые он хранил так бережно, словно это были *Epistolae*<sup>[27]</sup> Марка Туллия Цицерона<sup>[28]</sup>), несомненно, приносили отсутствовавшему супругу и отцу гораздо больше удовлетворения, чем его письма ей. Она рассказывала ему о том, как Дебора каждый день очень аккуратно подрубает заданный шов и читает ей вслух из книг, которые он указал, и какая она «бойкая не по летам», послушная девочка, но все время задает вопросы, на которые ее мать не знает, что ответить. Но, конечно, она не роняет себя, говоря «не знаю», а либо начинает мешать уголь в камине, либо отправляет «бойкую» девочку с каким-нибудь поручением. Теперь любимицей матери была Мэтти, обещавшая (подобно сестре в ее возрасте) стать настоящей красавицей. Это я прочла мисс Мэтти вслух, а она улыбнулась и слегка вздохнула, когда я дошла до простодушного пожелания, чтобы «малютка Мэтти не была щиславной, даже если она и вырастет красавицей».

— У меня были прелестные волосы, милочка, — сказала мисс Мэтти, — и красивые губы.

И я заметила, что она тут же поправила чепец и выпрямилась. Но вернемся к письмам миссис Дженкинс. Она рассказывала мужу о приходских бедняках — какие незатейливые домашние лекарства она прописала, какое послала подкрепляющее средство прямо с плиты. По-видимому, она грозила всем бездельникам, розгой его гнева. Она спрашивала у него распоряжений относительно коров и свиней, хотя не всегда их получала, как я уже упомянула выше.

Когда вскоре после напечатания проповеди у них родился сын, добрая бабушка уже скончалась, но в пачке хранилось еще одно письмо от деда, еще более суровое и зловещее, так как теперь от ловушек света следовало оберегать мальчика. Старик живописал все разнообразные грехи, в которые может впасть мужчина, и к концу я уже не понимала, каким образом хоть

одному мужчине удастся умереть естественной смертью. У меня создалось впечатление, что жизнь почти всех друзей и знакомых почтенного старца должна была неизбежно завершаться виселицей, и меня нисколько не удивило, что жизнь человеческую он называл не иначе как «юдолью слез».

Мне показалось странным, что я никогда прежде ничего не слышала про этого брата, но я решила, что он умер во младенчестве, — иначе его сестры, конечно же, упоминали бы его имя.

Мало-помалу мы добрались до пакетов, содержащих письма мисс Дженкинс. Их мисс Мэтти было жаль сжигать. Прочие, сказала она, интересны только тем, кто любил писавших, и ей было бы больно, если бы они попали в руки чужих людей, которые не знали дорогой матушки, не знали, какой превосходной женщиной она была, хотя и не всегда писала слова так, как их пишут нынче. Но письма Деборы так прекрасны! Чтение их может принести пользу кому угодно. Она довольно давно читала миссис Чэпоун,<sup>[29]</sup> но помнит, как думала тогда, что Дебора могла бы сказать то же самое нисколько не хуже. Ну, а миссис Картер!<sup>[30]</sup> Ее письма восхваляют только потому, что она написала «Эпиктета», но зато Дебора никогда бы не позволила себе употребить столь простонародное выражение, как «видать»!

Мисс Мэтти очень не хотелось предавать эти письма огню, что было совсем нетрудно заметить. Она не допустила, чтобы я быстро и небрежно прочитала их про себя. Нет, она забрала их у меня и даже зажгла вторую свечу, чтобы прочесть их вслух с надлежащим выражением и не запинаясь на длинных словах. О, боже мой! Как я жаждала фактов вместо рассуждений, пока длилось это чтение! Этих писем нам хватило на два вечера, и не скрою, что я успела за это время поразмыслить над всякой всячиной, хотя неизменно оказывалась на своем посту к концу каждого предложения.

Письма священника, его жены и тещи все были достаточно кратки и содержательны, а кроме того, написаны простым почерком и тесными строчками. Иной раз целое письмо умещалось на четвертушке листа. Бумага пожелтела, чернила побурели, а некоторые листы (как объяснила мне мисс Мэтти) пересылались еще старинной почтой: штамп в уголке изображал почтальона, мчащегося во весь дух на коне и трубящего в рог. Письма миссис Дженкинс и ее матери заклеивались большими круглыми красными облатками, ибо писались еще до того, как «Покровительство» мисс Эджуорт<sup>[31]</sup> изгнало употребление облаток из приличного общества. Судя по всему, франкированные конверты были в большой цене, и



стесненные в средствах члены парламента даже расплачивались ими со своими кредиторами. Преподобный Дженкинс запечатывал свои эпистолы огромной печатью с гербом, и по тому тщанию, с каким исполнялся этот обряд, можно было заключить, что, по его мнению, их надлежало аккуратно вскрывать, а не ломать печать небрежной или нетерпеливой рукой. Письма же мисс Дженкинс принадлежали более поздней эпохе как по форме, так и по почерку. Они писались на квадратных листках, которые мы давно уже называем старомодными. Ее почерк в сочетании с ее пристрастием к многосложным словам был превосходно приспособлен для того, чтобы заполнить такой лист, после чего можно было с гордостью и удовольствием искусно писать поперек него. Бедную мисс Мэтти это ставило в тупик, так как слова разрастались, точно снежный ком, и к концу письма достигали невероятной величины. В одном из писем к отцу, несколько богословском и аргументативном по тону, мисс Дженкинс упомянула Ирода, тетрарха Идумеи. Мисс Мэтти прочла вместо этого «Ирод, петрарх Этрурии» и была довольна так, словно нисколько не ошиблась.

Я не помню точных дат, но, кажется, самую длинную серию писем мисс Дженкинс написала в 1805 году, когда гостила у каких-то друзей под Ньюкаслем-на-Тайне. Эти друзья были близко знакомы с начальником тамошнего гарнизона и узнавали от него о всех приготовлениях, которые делались, чтобы отразить вторжение Буонапарте,<sup>[32]</sup> ибо некоторые люди полагали, что он попытается высадиться в устье Тайна. Мисс Дженкинс, очевидно, очень тревожилась, и первые из этих ее писем отличались вполне внятным языком и содержали описание того, как семья ее друзей готовилась к этому ужасному событию, одежды, связанной в узлы, чтобы можно сразу же бежать в Олстон-Мур (дикое гористое местечко на границе Нортумберленда и Камберленда), а также сигнала, который должен был предупредить, что пора бежать, и одновременно призвать к оружию волонтеров — подать же его (если мне не изменяет память) должны были звонари, ударив в церковные колокола особым, зловещим образом. Однажды, когда мисс Дженкинс со своими друзьями присутствовала на званом обеде в Ньюкасле, вдруг раздался этот набат (не слишком умная репетиция, если мораль басни о мальчике и волке содержит в себе зерно истины, но, как бы то ни было, сигнал подали), и на следующий день мисс Дженкинс, едва оправившись от испуга, подробно описала звук набата, охвативший всех ужас, спешку и тревогу, после чего, отдышавшись, добавила: «Какими ничтожными, дорогой батюшка, в настоящую минуту представляются все наши вчерашние страхи умам спокойным и

любезнательным!» И тут мисс Мэтти прервала чтение:

— Но, право же, милочка, тогда они вовсе не были ничтожными или пустыми. Помню, как я просыпалась по ночам, и мне казалось, что я слышу топот французов, вступающих в Крэнфорд. Многие говорили, что нам следует укрыться в соляных копиях — и мясо там прекрасно сохранилось бы, но только, пожалуй, нас мучила бы жажда. А отец произнес множество проповедей; утренние были посвящены Давиду и Голиафу и должны были вдохновить простых людей на то, чтобы в случае нужды они пустили в ход лопаты и кирпичи, а в вечерних доказывалось, что Наполеон (это еще одна из кличек Бони, как мы его называли) — не что иное, как Аполлион и Абадонна.<sup>[33]</sup> Помню, отец ожидал, что его попросят напечатать эти вечерние проповеди, но, наверное, прихожане уже наслушались их вдоволь.

Питер Мармадюк Арли Дженкинс («бедный Питер», как начала называть его тут мисс Мэтти) в это время находился в школе в Шрусбери. Священник вновь взялся, за перо и подновил свою латынь, дабы переписываться с сыном. Было очевидно, что письма мальчика писались по образчику. Они отличались завидной серьезностью, повествовали о том, как он занимается, и о различных его интеллектуальных устремлениях и чаяниях, время от времени подкрепляемых цитатами из древних авторов. Но порой животная натура прорывалась в коротеньких фразах вроде нижеследующей, которая, видимо, была написана с трепетной поспешностью уже после того, как письмо прошло цензуру: «Милая мамочка, пришли мне, пожалуйста, сладкий пирог и положи в него побольше цукатов». «Милая мамочка», вероятно, посылала ответы своему сыночку в форме пирогов и сладостей, потому что в этой пачке ни одного ее письма не было, но зато она содержала набор посланий от отца, на которого латынь в письмах сына подействовала, как звук боевой трубы на старого кавалерийского коня. Конечно, я мало что знаю о латыни, и возможно, это великолепный язык, однако, мне кажется, он не слишком полезен, во всяком случае, если судить по тем кусочкам, которые мне запомнились из писем старого священника. Например, такой: «На твоей карте Ирландии этого города нет, но Bonus Bernardus non videt omnia,<sup>[34]</sup> как гласят Proverbia<sup>[35]</sup>». Вскоре стало совершенно ясно, что «бедный Питер» то и дело попадался на проказах и шалостях. В пачке было несколько писем к отцу, полных напыщенных выражений раскаяния по поводу какой-то проделки, а среди них оказалась плохо написанная, плохо сложенная, плохо запечатанная записка, вся в пятнах слез: «Милая, милая, милая, дорогая

мамочка, я исправлюсь, я правда исправлюсь, но, пожалуйста, пожалуйста, не более из-за меня. Я этого не стою, но я буду хорошим, милая мамочка».

Когда мисс Мэтти прочла эту записку, она не могла от слез вымолвить ни слова и молча протянула ее мне. Потом она встала и унесла ее в священные пределы своей комнаты из страха, что мы можем нечаянно ее сжечь.

— Бедный Питер! — сказала она. — Его все время наказывали. Он был слишком покладист. Товарищи вовлекали его в нехорошие шалости, а сами оставались в стороне. Но он был большой проказник. И не мог удержаться, если ему представлялся случай пошутить. Бедный Питер!

## ГЛАВА VI

### БЕДНЫЙ ПИТЕР

Будущее бедного Питера простиралось перед ним, не без приятности размеченное его близкими, однако *Bonus Bernardus non videt omnia* и на его карте. Ему предстояло кончить шрусберийскую школу с отличием, после чего собрать еще более обильную жатву отличий в Кембридже, а затем получить приход, как подарок от его крестного отца сэра Питера Арли. Бедный Питер! Его жизненный путь оказался совсем не таким, как надеялись и планировали его близкие. Мисс Мэтти рассказала мне все подробности, и, по-моему, это принесло ей большое облегчение. Он был любимцем их матери, которая, по-видимому, обожала всех своих детей, хотя слегка побаивалась ума и образованности Деборы. Дебора была любимицей отца и, когда он разочаровался в Питере, стала его гордостью. Единственным отличием, которое Питер заслужил в шрусберийской школе, была репутация на редкость доброго малого и заводилы всяческих проказ. Отец был огорчен, но мужественно попробовал исправить дело. У него не было денег, чтобы послать Питера подготовиться к университету у какого-нибудь хорошего преподавателя, но он мог сам его подготовить, и мисс Мэтти поведала мне о грозных приготовлениях — о словарях и лексиконах, загромоздивших кабинет их отца в то утро, когда Питер приступил к занятиям.

— Бедная мамочка! — сказала мисс Мэтти со вздохом. — Я хорошо помню, как она стояла в передней неподалеку от двери кабинета и прислушивалась к голосу отца. Я сразу понимала по ее лицу, все ли идет хорошо. И довольно долго все шло хорошо.

— Ну, а почему же лотом все пошло дурно? — спросила я. — Наверное, из-за этой скучной латыни?

— Нет, не из-за латыни. Отец был доволен Питером, потому что с ним Питер занимался очень усердно. Но он думал, что над жителями Крэнфорда можно подшучивать и ставить их в смешное положение, а им это не нравилось. Да и кому понравилось бы, что над ним смеются? Он все время их дурачил. «Дурачить» — грубое слово, милочка, и, надеюсь, вы не скажете своему батюшке, что я его употребила: мне не хотелось бы, чтобы он думал, будто я употребляю грубые выражения, хотя столько лет провела рядом с такой женщиной, как Дебора. И сами его ни в коем случае не

употребляйте. Право, не знаю, как оно сорвалось у меня с языка. Наверное, потому, что я думала про бедного Питера, а это было его любимое словечко. Но тем не менее он был настоящим джентльменом. И походил на милого капитана Брауна тем, что всегда старался помогать старикам и детям. И все же он любил шутить и проказничать и почему-то думал, будто пожилые крэнфордские дамы готовы поверить чему угодно. В те дни здесь жило много старых дам; конечно, и теперь наше общество состоит почти из одних дам, но мы далеко не так стары, как бывали стары дамы в дни моей молодости. Мне и сейчас трудно удержаться от смеха, когда я вспоминаю некоторые проделки Питера. Нет, я не стану рассказывать вам о них, милочка, потому что боюсь, как бы они не шокировали вас меньше, чем следовало бы, — ведь они были совсем неблагонравными. Однажды он даже обманул нашего отца, переодевшись дамой, которая будто бы остановилась в городе проездом и пожелала познакомиться со священником, «издавшим столь превосходную проповедь, произнесенную в дни судебной сессии». Питер рассказывал, что он ужасно перепугался, когда увидел, как отец всему поверил — он заговорил о своих проповедях про Наполеона Буонапарте и даже предложил переписать их для нее... то есть для него... нет-нет, для нее, ведь Питер был тогда дамой. Он рассказывал мне, что никогда еще так не трусил, как в те минуты, пока отец говорил. Он думал, что отец догадается, но ведь тогда Питеру пришлось бы очень плохо. И все равно кончилось это для него не так уж хорошо, потому что отец поручил ему переписать все двенадцать буонапартовских проповедей для приезжей дамы, а ведь это же был сам Питер, вы понимаете? Он был этой дамой. И один раз, когда ему очень хотелось пойти удить рыбу, он сказал: «Черт бы побрал эту бабу» — очень грубое выражение, милочка, но Питер не всегда следил за своей речью так, как следовало бы. «Отец до того рассердился, что я чуть не умерла от страха. И все-таки мне очень хотелось смеяться, глядя, как Питер делал исподтишка книксены всякий раз, когда отец хвалил прекрасный вкус этой дамы и здравость ее суждений.

— А мисс Дженкинс знала об этих проделках? — спросила я.

— Нет-нет! Дебору они так шокировали бы! О них не знал никто, кроме меня. Ах, если бы я всегда знала планы Питера! Но иногда он мне ничего не говорил. Он все повторял, что старушкам в городе не хватает пищи для пересудов, но мне кажется, он ошибался. Они три раза в неделю получали «Сентджеймскую хронику»,<sup>[36]</sup> так же как и мы сейчас, а у нас всегда есть в избытке о чем поговорить; я помню, что стоило им сойтись вместе, и они ни на минуту не умолкали. Но, возможно, школьники

разговаривают больше, чем дамы. И вот случилось нечто очень печальное и ужасное.

Мисс Мэтти встала, подошла к двери и приотворила ее — в передней никого не было. Тогда она позвонила и, когда вошла Марта, велела ей сходить за яйцами на ферму по ту сторону городка.

— Я запру за вами дверь, Марта. Вам ведь не страшно пойти?

— Нет, сударыня, ни чуточки. Джем Хирн только рад будет меня проводить.

Мисс Мэтти выпрямилась во весь рост и, едва мы остались одни, выразила сожаление, что Марте несколько не хватает девичьей скромности.

— Мы задует свечу, милочка. Ведь разговаривать можно и при свете камина. Ну вот! Видите ли, Дебора уехала недели на две погостить у каких-то друзей. Я помню, день был очень тихий, совсем безветренный, и сирень стояла в полном цвету, так что, наверное, была весна. Отец ушел навестить больных прихожан — я помню, что видела, как он спускался с крыльца в парике, широкополой шляпе и с тростью. Не могу понять, что делалось с нашим бедным Питером — он был таким добрым, и все-таки ему всегда словно доставляло удовольствие дразнить Дебору. Она никогда не смеялась его шуткам и считала, что он неблаговоспитан и недостаточно прилежен, и это все его сердило.

И вот, как оказалось, он пробрался в ее спальню и надел ее старое платье, шаль и шляпку — те, что она постоянно носила в Крэнфорде, и в городе не нашлось бы человека, который не знал бы этой шали и шляпки. А потом он так завернул подушку, что можно было подумать, будто (вы уверены, милочка, что хорошо заперли дверь? Мне не хотелось бы, чтобы кто-нибудь услышал)... будто это младенец в длинной белой рубашечке. Он сказал мне после, что хотел только дать городу пищу для разговоров, ему и в голову не приходило, что это может бросить тень на Дебору. И он начал расхаживать по ореховой аллее так, что кусты закрывали его только наполовину, и нянчил подушку, точно младенца, и говорил всякие ласковые слова, как всегда делают в таких случаях. И тут... тут на улице как раз показался отец, который, как всегда, шел величественно и неторопливо. И что же он увидел? Густую толпу — человек двадцать, не меньше, — которая прильнула к ограде его сада. Сначала он решил, что они смотрят на новый рододендрон, который был в полном цвету и которым он очень гордился, а потому замедлил шаг, чтобы они могли полюбоваться подольше. И ему пришла в голову мысль, что это может послужить темой для проповеди, и он начал обдумывать, нельзя ли сопоставить рододендроны с лилиями полевыми.<sup>[37]</sup> Бедный отец! Когда он подошел

ближе, ему показалось странным, что его никто не замечает, но все головы прижимались к ограде: все что-то пристально разглядывали в саду. Отец остановился рядом с ними, собираясь, как он объяснил позже, пригласить их в сад, чтобы там полюбоваться прекрасными дарами растительного царства, когда... ах, милочка, я и сейчас дрожу при одном воспоминании об этом... он сам взглянул за ограду и увидел... Не знаю, что он тогда подумал, но старый Клейр говорил мне, что лицо у него стало от гнева совсем серым, а глаза под сдвинутыми черными бровями метали пламя. И он сказал — таким ужасным голосом, — чтобы они остались стоять тут, чтобы никто не посмел сделать ни шагу, а сам с быстротой молнии распахнул калитку, схватил бедного Питера, сорвал с него одежду — платье, шаль и шляпку, а подушку кинул за ограду тем, кто там стоял. Потом... он и правда был вне себя от гнева... потом он на глазах у всех этих людей начал бить Питера тростью!

Милочка, эта мальчишеская шалость в солнечный день, когда все, казалось, было так хорошо, разбила сердце моей матери, а моего отца навсегда сделала другим человеком. Да-да! Старый Клейр говорил, что Питер тоже побелел — совсем как отец — и стоял под градом ударов неподвижно, точно статуя, а ведь отец бил что есть силы. Когда он остановился, чтобы перевести дух, Питер сказал хрипло: «Вы кончили, сэр?» — но не пошевелился. Не знаю, что ответил отец и ответил ли он что-нибудь. Но старый Клейр рассказывал, что Питер повернулся к людям за оградой и отвесил им поклон, такой торжественный и величественный, что ему мог бы позавидовать любой джентльмен, а потом медленно пошел к дому. Я была в кладовой — помогала маме готовить настойку из первоцвета. С тех пор я не переношу этой настойки и запаха этих цветов тоже: мне сразу становится дурно, как в тот день, когда Питер вошел, гордо, точно мужчина... да, и его лицо было уже лицом не мальчика, а взрослого мужчины. «Матушка! — сказал он. — Я пришел сказать, да благословит вас бог». Я заметила, что губы у него дрожат, и мне кажется, он не посмел сказать более нежных слов из-за того, что уже решил сделать. Она взглянула на него испуганно, с недоумением и спросила, что случилось. Он не улыбнулся и ничего не сказал, а только обнял ее и поцеловал, как будто не мог с ней расстаться, но прежде чем она успела заговорить, он выбежал вон. Мы с мамой ничего не понимали, и она велела мне пойти к отцу и спросить, что произошло. Он расхаживал взад и вперед по кабинету, и лицо у него было очень сердитое. «Скажи своей матери, что я наказал Питера тростью, и наказал по заслугам». Я не посмела его расспрашивать. Когда я передала маме его слова, она опустила на стул,

точно ей стало дурно. Помню, несколько дней спустя я увидела на куче сухих листьев увядшие цветки первоцвета, выброшенные, чтобы сгнить там и распасться прахом. В этом году у нас в доме не делали настойки из первоцвета, ни в этом, ни в следующем... и никогда больше.

Потом мама пошла к отцу. Я помню, что думала тогда о том, как царица Эсфирь шла к царю Артаксерксу.<sup>[38]</sup> Потому что мама была очень красивой и тоненькой, а отец выглядел таким же грозным, как Артаксеркс. Через некоторое время они вместе вышли из кабинета, и мама объяснила мне, что случилось, и сказала, что пойдет сейчас к Питеру, потому что этого хочет отец (только Питеру она так не скажет), и поговорит с ним о его поступке. Но Питера в его комнате не было. Мы осмотрели весь дом. Питера нигде не было. Даже отец, который сначала не хотел участвовать в поисках, вскоре присоединился к нам. Дом был очень старинный — в одну комнату надо было подниматься по ступенькам, в другую спускаться по ступенькам, и так повсюду. Сначала мама звала негромко и нежно, словно желая успокоить бедного мальчика: «Питер! Питер, милый! Это я!» — но потом, когда вернулись слуги, которых отец разослал в разные стороны искать Питера, когда мы узнали, что его нет ни в саду, ни на сеновале, мама стала звать его громче, с отчаянием: «Питер! Питер, маленький мой! Где ты?» — потому что она почувствовала и поняла, что этот долгий поцелуй был прощальным. До вечера мама без отдыха искала его повсюду, где только можно было, хотя каждый закоулок уже успели осмотреть раз двадцать, и не только слуги, но и она сама. Отец сидел, опустив голову на руки, и прерывал молчание, только когда возвращались слуги, не узнав ничего нового. Тогда он отнимал руки от лица, такого сильного и печального, и снова посылал их на поиски куда-нибудь еще. Мама, не переставая, ходила из комнаты в комнату, выходила в сад, снова возвращалась — совсем бесшумно, ни на секунду не присаживаясь. Ни она, ни отец не решались уйти из дома, ожидая возвращения слуг. Наконец (уже почти стемнело) мой отец встал. Он взял под руку маму, которая быстро вошла в одну дверь и сразу направилась к другой. Она вздрогнула от его прикосновения, потому что забыла обо всем на свете, кроме Питера.

«Молли! — сказал он. — Я не предполагал, что это может кончиться так». Ища утешения, он заглянул ей в лицо, белое как полотно, совсем безумное. Ведь ни она, ни отец не осмеливались высказать вслух терзавшую их ужасную мысль, что Питер наложил на себя руки, и тем более — начать другие, страшные поиски. Отец не нашел в воспаленных, тоскливых глазах жены знакомого выражения, он не обрел у нее того сочувствия, которое прежде она всегда была готова излить на него, хотя он



и был сильным мужчиной, и при виде этого скорбного отчаяния из его глаз наконец хлынули слезы. Однако едва она это заметила, ее взгляд стал мягче и ласковее, и она сказала: «Милый Джон! Не плачьте. Пойдемте со мной, и мы его отыщем». И говорила она так уверенно, словно и правда знала, где искать Питера. Она взяла большую руку отца своей маленькой нежной рукой и повела его по тому же томительному кругу из комнаты в комнату, из дома в сад и назад в дом, а по его щекам все катились и катились слезы.

Ах, как мне недоставало Деборы! У меня не было времени плакать, потому что теперь слуги приходили за распоряжениями ко мне! Я написала Деборе, прося ее вернуться домой. Я послала к мистеру Холбруку... Бедный мистер Холбрук! Вы знаете, о ком я говорю... То есть я не к нему послала, а попросила одного доверенного человека узнать, не у него ли Питер. Ведь одно время мистер Холбрук иногда посещал наш дом — вы знаете, что он был кузеном мисс Пул, — и всегда был очень добр к Питеру, научил его ловить рыбу... Он со всеми был добр, и я подумала, что Питер мог отправиться к нему. Но мистер Холбрук дуда-то уехал, а Питера там никто не видел. Уже настала ночь, но все двери были распахнуты настежь, и отец с мамой все ходили и ходили по комнатам и саду, хотя прошло больше часа с тех пор, как он стал ходить вместе с ней. И за все это время они не произнесли ни единого слова. Я распорядилась, чтобы в гостиной затопили камин, и горничная начала собирать чай, потому что я хотела, чтобы они чего-нибудь съели и согрелись, и тут старый Клейр попросил разрешения поговорить со мной.

«Я взял на мельнице сеть, мисс Мэтти. Попробовать сейчас поискать в прудах или отложить до завтра?»

Я помню, как смотрела на него, силясь понять, о чем он говорит, а когда поняла, то громко засмеялась. Какая жуткая мысль: наш веселый, милый Питер... застывший, неподвижный, мертвый! Я и сейчас еще слышу этот мой смех.

Дебора вернулась на следующий день, прежде чем я пришла в себя. Она не поддавалась бы слабости, как я, но мои вопли (мой страшный смех завершился рыданиями) заставили очнуться маму; как ни мешались от горя ее мысли, она сразу овладела собой, едва кому-то из ее детей понадобилась помощь. Возле моей кровати я увидела ее и Дебору. По их лицам я поняла, что о Питере нет известий — тех ужасных, тех жутких известий, которых я больше всего страшилась, пока оставалась в этом полубесчувственном состоянии.

Бесплодность розысков, мне кажется, принесла точно такое же успокоение и маме: я убеждена, что накануне она бродила по дому и саду,

гонимая мыслью, что где-то здесь Питер уже висит мертвый. Ее кроткие глаза после этого так и не стали прежними: теперь они смотрели беспокойно, жадно, словно что-то постоянно искали и не находили. Ах, это было ужасное время! И ведь все произошло так внезапно, в такой тихий солнечный день, когда сирень стояла вся в цвету.

— А где же был мистер Питер? — спросила я.

— Он отправился в Ливерпуль, а ведь тогда была война, и в устье Мерсея стояло несколько военных кораблей, и когда такой красивый крепкий юноша (он был почти шести футов роста) захотел завербоваться, ему только обрадовались. Капитан написал отцу, а Питер — маме. Погодите! Эти письма ведь должны быть где-то здесь.

Мы зажгли свечу и нашли письмо капитана и письмо Питера. А кроме того, мы нашли простенькое молящее письмо миссис Дженкинс Питеру, посланное в дом его приятеля, к которому, как ей казалось, он мог отправиться. Письмо возвратили нераспечатанным, и так нераспечатанным оно и осталось, случайно положенное в пачку с другими письмами тех лет. Вот оно:

«Мой родной, милый Питер!

Ты не подумал, как мы будем огорчены, я знаю, иначе ты не ушел бы из дома. Ты ведь такой добрый. Твой отец сидит и вздыхает так, что у меня сердце разрывается. Горе его совсем сломило, а ведь он только сделал то, что считал правильным. Может быть, он был слишком строг, и, может быть, я была недобра к тебе, но богу известно, как мы любим тебя, мой дорогой, мой единственный мальчик. Дон очень без тебя скучает. Вернись и обрадуй нас, ведь мы все тебя так любим. Я знаю, знаю, что ты вернешься».

Но Питер не вернулся. В тот весенний день он видел лицо своей матери в последний раз в своей жизни. Та, кто написала это письмо, последняя — и единственная, — кто видел то, что было в нем написано, давно умерла. И вскрыть его досталось мне, совсем ей чужой, еще не родившейся на свет, когда все это произошло.

В письме капитана говорилось, что они должны немедленно приехать в Ливерпуль, если хотят повидаться с сыном, и по какой-то нелепой прихоти судьбы это письмо где-то почему-то задержалось.

Мисс Мэтти продолжала:

— А тогда как раз происходили скачки, и все почтовые лошади в Крэнфорде были из-за них в разгоне, но отец с мамой поехали в своей собственной двуколке, и... милая деточка, они опоздали! Корабль уже отплыл. А теперь прочтите письмо Питера маме.

Оно было исполнено любви, и грусти, и гордости своей новой профессией, и обиды, что его опозорили перед всем Крэнфордом, но завершалось оно мольбой, чтобы она приехала и повидалась с ним, прежде чем его корабль покинет устье Мерсея: «Мамочка, возможно, нам доведется участвовать в сражении. Я надеюсь, что так и будет, и мы побьем французишек, но перед этим я должен, должен увидеть тебя!»

— А она опоздала, — сказала мисс Мэтти. — Опоздала.

Мы сидели молча, думая о смысле этих бесконечно печальных слов. Наконец я попросила мисс Мэтти рассказать, как переносила ее мать свое горе.

— Она была само терпение, — ответила мисс Мэтти. — Но ее здоровье никогда не было крепким, и эти несчастья совсем подорвали ее силы. Отец все сидел и смотрел на нее и казался гораздо печальнее, чем она. Он словно не мог смотреть ни на что иное, если она была рядом, и он стал таким кротким, таким ласковым. Если он говорил что-нибудь в своей прежней манере, — как будто его слово было законом, — он тут же подходил к нам, клал руку нам на плечи и тихим голосом спрашивал, не обидел ли он нас. Когда он говорил так с Деборой, я это понимала: она ведь была такой умной! Но когда он обращался так ко мне, я еле сдерживала слезы.

Но ведь он видел то, чего не видели мы: что случившееся убивает маму. Да, убивает ее (погасите свечу, милочка, мне легче говорить в темноте) — она же всегда была хрупкой и не могла выдержать подобного испуга и потрясения. Но она улыбалась ему и утешала его — не словами, а взглядом и тоном голоса, всегда веселыми и бодрыми, когда он был рядом. И она часто повторяла, что Питер, конечно, очень скоро станет адмиралом — он ведь такой храбрый и умный, и говорила о том, как она мечтает увидеть его в мундире, и о том, какие шляпы носят адмиралы, и о том, как ему больше подходит быть моряком, чем священником, — и все это весело, так, чтобы отец поверил, будто она рада последствиям злополучного утра и расправы тростью, воспоминание о которых мучило его неотступно, мы все это знали. Но, милочка, как горько она рыдала, оставаясь одна! И вскоре она настолько ослабела, что уже не могла сдерживать слез при Деборе и при мне и все время просила нас передать Питеру то-то и то-то (их корабль отправился в Средиземное море или куда-то туда, а потом его перевели служить в Индию, а по суше тогда сообщения не было). Но она по-прежнему повторяла, что никому не дано знать часа своей смерти и что мы не должны думать, будто ее час уже близок. Мы этого не думали, но мы это знали, видя, как она тает день ото дня.

Я понимаю, милочка, что глупо плакать, когда я, наверное, уже скоро с ней свижусь.

И только подумайте, деточка, на другой день после ее смерти — она ведь и года не прожила после того, как Питер ушел из дома, — на другой день ей пришла посылка из Индии от ее бедного мальчика! Это была индийская шаль, пушистая и белая, с узенькой каемочкой по краю, как раз такая, какая понравилась бы маме.

Мы подумали, что это может немного отвлечь отца, который всю ночь просидел, держа ее за руку, а потому Дебора отнесла ему шаль и письмо Питера. Сначала он словно ничего не замечал, и мы попытались завести разговор о шали, развернули ее, стали хвалить. Тогда он неожиданно поднялся и сказал: «Мы похороним ее в ней. У Питера будет хотя бы такое утешение, и она сама бы этого пожелала».

Ну, возможно, это было неразумно, но что мы могли сделать или возразить? Когда у человека горе, с ним не спорят. Он взял шаль и погладил ее. «Как раз такая, о какой она мечтала перед свадьбой, а мать ей не купила. Я узнал об этом только много времени спустя, иначе у нее была бы такая шаль... да, была бы. И вот теперь она у нее будет».

Мама в гробу казалась такой красивой! Она всегда была хороша собой, а теперь выглядела такой прелестной, почти прозрачной, и такой молодой. Она казалась моложе Деборы, которая стояла около, вся содрогаясь. Мы расположили шаль мягкими красивыми складками, а мама улыбалась, точно была довольна; приходило много людей — весь Крэнфорд, — чтобы попрощаться с ней, потому что они ее любили, да и как же было ее не любить! И деревенские женщины приносили букеты полевых цветов, а жена старого Клейра принесла белых фиалок и попросила, чтобы их положили ей на грудь.

В день похорон мамы Дебора сказала мне, что пусть ей сделают предложение хоть сто человек, она никогда не выйдет замуж и не покинет отца. Вряд ли все-таки их могло быть так много — я не знаю, сделал ли ей предложение хоть кто-нибудь, — но это не умаляет благородства ее слов. Она была отцу такой дочерью, каких, мне кажется, свет еще не видел и больше не увидит. Зрение у него совсем ослабело, и она читала ему книгу за книгой, писала под его диктовку, переписывала проповеди и всегда была готова выполнить любое его поручение по делам прихода. Она умела гораздо больше бедной мамы и однажды даже написала за отца письмо епископу. Но он неутешно горевал по маме, весь приход это замечал. Не то чтобы он стал менее деятельным — напротив, и, кроме того, помогал теперь тем, кто нуждался в его помощи, с большей кротостью. Я делала

все, что было в моих силах, чтобы Дебору ничто не отвлекало и она могла постоянно быть возле него. Я ведь ни на что важное не гожусь, и самое лучшее, что мне дано делать, это тихонько брать на себя разные мелкие хлопоты и освобождать от них других. Но отец совсем переменялся.

— А мистер Питер приезжал потом домой?

— Да, один раз. Он приехал лейтенантом, адмиралом он не стал. И они с отцом были такими друзьями! Отец посетил вместе с ним всех своих прихожан, он так им гордился! Он выходил из дома, только опираясь на руку Питера. Дебора улыбалась (мне кажется, после маминой смерти мы больше никогда не смеялись) и повторяла, что ее убрали в чулан. Но на самом деле это было не так: отец всегда звал ее, когда надо было написать письмо, прочесть что-нибудь или что-то обсудить.

— А что было потом? — спросила я после паузы.

— А потом Питер снова ушел в море, и через некоторое время отец скончался, благословив нас обеих и поблагодарив Дебору за все, чем она была для него, и, конечно, наши обстоятельства переменялись: мы должны были переехать в этот маленький домик и вместо трех горничных и слуги обходиться одной служанкой; но, как всегда говорила Дебора, мы строго соблюдали правила хорошего тона, хотя по воле судьбы и должны были жить просто. Бедная Дебора!

— А мистер Питер? — спросила я.

— В Индии случилась какая-то большая война — не помню ее названия, и с тех пор мы ничего о Питере не слышали. Я думаю, что он умер, и иногда меня тревожит, что мы не носили по нему траура. А порой, когда я сижу одна и в доме совсем тихо, мне кажется, что на улице раздаются его шаги, и сердце у меня замирает, а потом начинает биться очень сильно. Но шаги всегда затихают дальше по улице, а Питер не приходит... Это Марта вернулась? Нет-нет, милочка! Я пойду сама. Вы же знаете, я умею находить дорогу в темноте; А у двери меня немножко обдует свежим воздухом и, может быть, станет легче голове: она что-то разбалывается.

И мисс Мэтти спустилась вниз. Я зажгла свечу, чтобы в комнате было уютнее, когда она вернется.

— Это была Марта? — спросила я.

— Да. И я немного беспокоюсь, потому что, открывая дверь, слышала очень странный шум.

— Где? — спросила я, заметив, что ее глаза стали совсем круглыми от испуга.

— На улице... прямо за дверью... Мне показалось, что там...

— Разговаривают? — подсказала я, когда она запнулась.

— О нет! Целуются...

## ГЛАВА VII

### ВИЗИТЫ

Как-то утром, когда мы с мисс Мэтти сидели за рукоделием — еще не было двенадцати и мисс Мэтти не сменила чепца с желтыми лентами, который прежде был парадным чепцом мисс Дженкинс и который мисс Мэтти теперь носила в уединении своего дома, а чепец, изготовленный в подражание головному убору миссис Джеймисон, надевала, только выходя куда-нибудь или ожидая гостей, — в комнату заглянула Марта и доложила, что ее хозяйку хотела бы видеть мисс Бетти Баркер. Мисс Мэтти сказала, чтобы Марта пригласила мисс Баркер подняться в гостиную, а сама поспешила к себе в спальню переменить чепец, но так как она забыла очки, а к тому же пришла в некоторое волнение из-за странного времени, выбранного для этого визита, я нисколько не удивилась, увидев, что она просто водрузила второй чепец поверх первого. Мисс Мэтти не подозревала об этом и смотрела на нас с безмятежной улыбкой. Впрочем, мне кажется, и мисс Баркер ничего не заметила: не говоря уж о том малозначительном обстоятельстве, что она была далеко не так молода, как прежде, все ее внимание поглощала цель ее прихода, о которой она и поведала с угнетающим смирением, находившим выход в бесконечных извинениях.

Мисс Бетти Баркер была дочерью старого крэнфордского причетника, подвизавшегося на избранном им поприще в дни мистера Дженкинса. Она и ее сестрица служили камеристками в хороших домах и накопили достаточно денег, чтобы открыть мастерскую дамских шляп, пользовавшуюся покровительством окрестных знатных дам. Леди Арли, например, время от времени отдавала девицам Баркер выкройку своего старого чепца, и они немедленно вводили этот фасон в моду среди высшего крэнфордского света. Я говорю «высший свет» потому, что девицы Баркер заразились царившим там духом и гордились своими «аристократическими связями». Они отказывались продавать чепцы и ленты тем, у кого не было родословной. Немало фермерш и их дочек сердито покидали тонное заведение девиц Баркер и направляли свои стопы в мелочную лавку, владелец которой мог позволить себе на доходы от продажи стирального мыла и сыроватого сахара ездить в (он говорил — «Париж», пока не заметил, что патриотизм и джонбульность<sup>[39]</sup> его клиентов не позволяют им

следовать вкусам презренных мусью) Лондон, где, как он частенько заверял своих покупательниц, королева Аделаида<sup>[40]</sup> только неделю назад появилась точно в таком же чепце, отделанном желтыми и голубыми лентами, а король Вильгельм не преминул сделать ей комплимент за столь удачный выбор головного убора.

Девушки Баркер, которые не преступали пределов истины и брезговали покупательницами, не принадлежавшими к числу избранных, тем не менее процветали. Обе были добросердечны и мало думали о себе. Я не раз видела, как старшая сестра (она в свое время была горничной у миссис Джеймисон) несла питательное блюдо какой-нибудь бедной старухе, Они только рабски следовали примеру знатных особ, не желая «иметь ничего общего» с теми, кто стоял на одну ступень ниже их. А когда старшая сестра умерла, оказалось, что они скопили достаточно, чтобы мисс Бетти могла закрыть мастерскую и удалиться от дел. Кроме того, она (как я, кажется, упоминала) обзавелась коровой, что в Крэнфорде служит почти таким же признаком респектабельности, как в некоторые круги — собственный кабриолет. Ни одна из крэнфордских дам не одевалась наряднее ее, и мы этому не удивлялись, ибо все знали, что она донашивает шляпки, чепцы и ужасные ленты, которые прежде лежали на складе ее мастерской. Закрывает она ее лет пять-шесть назад, а потому везде, кроме Крэнфорда, ее туалет мог бы показаться несколько *passee*.<sup>[41]</sup>

В это утро мисс Бетти Баркер явилась пригласить; мисс Мэтти к себе на чай в следующий вторник. Узнав, что я гощу у мисс Мэтти, она пригласила и меня, хотя я заметила, что она несколько опасается, не занялся ли мой отец, переселившись в Драмбл, «этой мерзкой торговлей хлопком», тем самым низринув свое семейство из горних сфер «аристократического общества». Она предварила свое приглашение таким множеством извинений, что раздражило мое любопытство. Разумеется, она позволила себе «большую дерзость». Что такое она натворила? Наблюдая, как она мучится из-за своей неслыханной смелости, я уже совсем уверовала, что она написала королеве Аделаиде, прося сообщить ей рецепт стирки тонких кружев. Однако дерзость эта исчерпывалась тем, что она пригласила миссис Джеймисон — бывшую хозяйку своей сестры! «Памятуя о прежнем ее занятии, извинит ли мисс Мэтти подобную вольность?» «А! — подумала я. — Она заметила удвоенный чепец и решила исправить головной убор мисс Мэтти». Но нет! Она просто испрашивала разрешения пригласить также мисс Мэтти и меня. Мисс Мэтти наклонила голову в знак согласия, и я подумала, что, делая это



любезное движение, она не могла не ощутить необычный вес и чрезвычайную высоту своего головного убора. Однако она, по-видимому, ничего не заметила и, благополучно выпрямившись, продолжала беседовать с мисс Бетти ласково и снисходительно, без тени того тягостного смущения, которое неминуемо охватило бы ее, заподозри она, насколько оригинально выглядит ее чепец.

— Так, значит, миссис Джеймисон обещала быть у вас? — спросила мисс Мэтти.

— Да, миссис Джеймисон с величайшей добротой и снисходительностью сказала, что будет рада провести у меня вечер. Но поставила небольшое условие: она прибудет с Карло. Я сказала ей, что если у меня есть к кому слабость, так это к собакам.

— А мисс Пул? — осведомилась мисс Мэтти, которая думала о том, как бы составить партию в преферанс без участия Карло.

— Я собираюсь пригласить мисс Пул. Само собой, я не могла пригласить ее прежде, чем пригласила бы вас, сударыня, дочь нашего священника. Поверьте, я не забываю, кем был мой папаша при вашем батюшке.

— И разумеется, миссис Форрестер?

— И миссис Форрестер. По правде говоря, я думала побывать у нее прежде, чем у мисс Пул. Хотя обстоятельства ее жизни переменились, сударыня, она — урожденная Тиррел, и мы не должны забывать о ее родстве с Биггсами из Биглоу-Холла.

Мисс Мэтти гораздо больше интересовала та мелочь, что миссис Форрестер прекрасно играла в карты.

— Миссис Фиц-Адам... я полагаю...

— Нет, сударыня, всему есть предел. Миссис Джеймисон, я думаю, вряд ли будет приятно знакомство с миссис Фиц-Адам. Я питаю к миссис Фиц-Адам глубочайшее уважение, но не могу считать ее достойной общества таких особ, как миссис Джеймисон и мисс Матильда Дженкинс.

Мисс Бетти Баркер отвесила мисс Мэтти низкий поклон и поджала губы. Исполненный достоинства взгляд, который она искоса бросила на меня, без слов сказал, что хотя она — всего лишь удалившаяся от дел модистка, но отнюдь не демократка и понимает все тонкости сословных различий.

— Могу ли я просить вас сделать милость прийти в мое скромное жилище как можно ближе к половине седьмого, мисс Матильда? Миссис Джеймисон обедает в пять, но любезно обещала быть у меня не позже этого часа. — И с глубоким плавным реверансом мисс Бетти Баркер

покинула нас.

Моя пророческая душа предсказала мне, что днем нам сделает визит мисс Пул, которая обычно являлась к мисс Мэтти после любого события — или в предвидении любого события, — чтобы подробно обсудить его с ней.

— Мисс Бетти сказала мне, что приглашен лишь самый небольшой и самый избранный круг, — сообщила мисс Пул после того, как они с мисс Мэтти обменялись сведениями.

— Да, она так сказала. Не приглашена даже миссис Фиц-Адам.

Миссис Фиц-Адам была овдовевшей сестрой крэнфордского врача, о котором я уже упоминала. Они происходили из почтенной фермерской семьи, и родители их были вполне довольны своим жребием. Эти добрые люди носили фамилию Хоггинс. Мистер Хоггинс был теперь крэнфордским доктором. Нам не нравилась эта мужицкая фамилия, мы считали ее грубой. Одно время мы надеялись обнаружить родственную связь между ними и той маркизой Эксетер, которую звали Молли Хоггинс, но доктор, ничуть не заботясь о собственных интересах, ничего не желал знать об этом родстве и полностью его отрицал, хотя, как однажды заметила дорогая мисс Дженкинс, одну из его сестер звали Мэри, а имена в семье обычно передаются из поколения в поколение.

Вскоре после того, как мисс Мэри Хоггинс вышла замуж за мистера Фиц-Адама, она на много лет исчезла из этих мест. Так как она не вращалась в высшем свете Крэнфорда, никто из нас в свое время не полюбопытствовал узнать, кем был мистер Фиц-Адам. Он скончался и ушел к праотцам, а никто из нас так и не заметил его существования. И тогда миссис Фиц-Адам вновь появилась в Крэнфорде («смело, будто лев», как выразилась мисс Пул) уже зажиточной вдовой, облачившейся в черные шуршащие шелка столь быстро после кончины супруга, что бедная мисс Дженкинс имела основание заметить: «Право, бумазея выразила бы более глубокую скорбь!»

Я помню конклав дам, собравшийся, чтобы решить, следует ли исконным крэнфордским обитательницам голубых кровей сделать визит миссис Фиц-Адам или нет. Она поселилась в большом доме с флигелями, который до этих пор всегда как бы служил патентом благородного происхождения для того, кто в нем обитал, ибо в давние времена, лет за семьдесят — восемьдесят до описываемых событий, в нем изволила проживать незамужняя дочь какого-то графа. Кроме того, кажется, считалось, что этот дом дарует своему обитателю особо тонкий ум, так как у дочери графа леди Джейн была сестра, леди Анна, которая во времена американской войны вышла замуж за генерала,<sup>[42]</sup> а этот генерал написал

две-три комедии, которые все еще время от времени давались на лондонских подмостках, — и когда мы читали объявления о них, то гордо выпрямлялись, убежденные, что Друри-Лейн делает Крэнфорду весьма изящный комплимент. Тем не менее вопрос о визитах к миссис Фиц-Адам все еще не был решен, когда дорогая мисс Дженкинс умерла, а вместе с ней умерло и четкое представление о суровых требованиях кодекса аристократизма. Как заметила мисс Пул: «Ведь большинство крэнфордских дам хорошего происхождения — либо бездетные вдовы, либо старые девы, и если мы не станем менее взыскательными и разборчивыми, скоро у нас тут никакого общества не останется».

Миссис Форрестер поддержала ее.

Насколько ей было известно, «Фиц» обязательно означает нечто аристократическое. Вот, например, Фиц-Рой — если она не ошибается, некоторые королевские дети звались Фиц-Рой. Или Фиц-Кларенсы — они же дети милого доброго короля Вильгельма IV. Фиц-Адам! Прелестная фамилия, и, по ее мнению, почти наверное означает «Дитя Адама». Никто, у кого в жилах не течет хотя бы капля благородной крови, не посмеет зваться «Фиц». Фамилия — великое дело. У нее был кузен, который писал свою фамилию через два маленьких «ф» — ффулкс, и он презирал заглавные буквы и утверждал, что с них пишутся фамилии, придуманные позднее. Она даже опасалась, что он умрет холостяком, — настолько он был разборчив. Когда он познакомился на водах с некой миссис ффарингдон, она сразу произвела на него глубокое впечатление. Это была очень красивая женщина, образчик хорошего тона — вдова с прекрасным состоянием; и «мой кузен мистер ффулкс» женился на ней — и все из-за ее двух маленьких «фф».

У миссис Фиц-Адам не было ни малейших шансов познакомиться в Крэнфорде с каким-нибудь мистером Фиц... и так далее, а потому она, несомненно, поселилась тут не по этой причине. Мисс Мэтти считала, что ее привела сюда надежда проникнуть в высший свет города — это, несомненно, было бы весьма приятным шагом вверх для *si-devant*<sup>[43]</sup> мисс Хоггинс; и если она питала подобные надежды, то было бы жестоко их обмануть.

А потому все нанесли визиты миссис Фиц-Адам, то есть все, кроме миссис Джеймисон, которая имела обыкновение показывать, насколько она высокородна, не замечая миссис Фиц-Адам, когда судьба сводила их на чьем-нибудь званом вечере. Приглашенных дам бывало не больше девяти-десяти, и миссис Фиц-Адам выделялась среди них дородством, а кроме того, она непременно вставала, когда входила миссис Джеймисон, и делала

очень низкие реверансы, стоило той взглянуть в ее сторону — такие низкие, что, по-моему, миссис Джеймисон глядела на стенку над ней, потому что она ни разу даже бровью не шевельнула, точно вовсе ее не видела. Но миссис Фиц-Адам продолжала свое.

Весенние вечера стали уже светлыми и долгими, когда трое-четверо дам в жестких капюшонах встретились у двери мисс Баркер. А вы знаете, что такое жесткий капюшон? Его надевают над чепцом или шляпой, выходя на улицу, и больше всего он похож на верх извозчичьей пролетки — правда, иногда он бывает несколько меньшего размера. Жесткие капюшоны неизменно производят ошеломляющее впечатление на крэнфордских детишек, и на этот раз два-три мальчугана, игравшие в тихом солнечном переулке, бросили свои забавы и в безмолвном изумлении окружили мисс Пул, мисс Мэтти и меня. Мы также хранили безмолвие, а потому ясно расслышали громкий, подавленный шепот внутри дома мисс Баркер:

— Погоди, Пегги! Погоди, пока я не сбегая в спальню вымыть руки. Когда я кашляну, открывай дверь. Я в одну минуту управлюсь.

И правда, не прошло и минуты, как мы услышали не то хриплое «апчхи!»; не то кукареканье, и дверь перед нами тотчас распахнулась. За ней стояла круглоглазая девушка, растерянно взиравшая на почтенное общество жестких капюшонов, которые проследовали мимо нее без единого слова. Немного опомнившись, она проводила нас в небольшую комнату, которая прежде служила мастерской, а теперь была временно превращена в гардеробную. Там мы отшпилили низ юбок, одернули их и перед зеркалом придали нашим лицам приятное и любезное выражение, положенное для званых вечеров, а затем с поклонами и с «после вас, сударыня» уступили миссис Форрестер право первой подняться по узенькой лестнице, которая вела в гостиную мисс Баркер. Она сидела там — величественная и безмятежная, так, словно нам только почудился этот необыкновенный кашель, после которого у нее, наверное, и сейчас еще ныло горло. Добрая, кроткая, бедно одетая миссис Форрестер была тотчас подведена ко второму почетному месту, которое, подобно сиденью принца Альберта<sup>[44]</sup> возле сиденья королевы, было хорошим, но не настолько хорошим. Самое почетное место, разумеется, предназначалось для высокородной миссис Джеймисон, которая уже, пытаясь, поднималась по лестнице, а Карло на каждой ступеньке описывал вокруг нее стремительную петлю, словно намереваясь сбить ее с ног.

Как горда и как счастлива была мисс Бетти Баркер! Она помешала в камине, закрыла дверь и села как можно ближе к ней на самом кончике стула. Когда вошла Пегги, пошатываясь под тяжестью чайного подноса, я

заметила, что мисс Баркер томят мучительные опасения, как бы Пегги не забылась. При обычных обстоятельствах служанка и хозяйка держались друг с другом как близкие приятельницы, и теперь Пегги очень хотела что-то сообщить мисс Баркер по секрету, а мисс Баркер очень хотела ее выслушать, но полагала, что долг истинной леди требует от нее ничего подобного не допускать. А потому она упорно не замечала ни шепота, ни знаков Дегги. Однако, ответив раза два невпопад на вопросы своих гостей, она вдруг воскликнула, осененная блестящей мыслью:

— Бедненький миленький Карло! Я совсем забыла о нашем песике. Пойдем вниз, моя прелесть, и ты получишь свое угощение, да-да!

Через несколько минут она вернулась, такая же безмятежная и благодушная, но, по-моему, она забыла покормить «бедненького миленького песика» — во всяком случае, он весьма жадно набрасывался на оброненные кусочки кекса. Чайный поднос был нагружен очень тяжело, чему я от души обрадовалась, так как была не на шутку голодна, но я опасалась, что остальные гости сочтут столь обильное угощение вульгарным. Я знаю, как они поступили бы у себя дома, но тут груды всяческого печенья быстро пошли на убыль. Я заметила, что миссис Джеймисон с обычной неторопливостью и обстоятельностью ест тминный бисквит, и немного удивилась, вспомнив, как на своем последнем вечере она объясняла нам, что у нее в доме этот бисквит не подают — он слишком напоминает ей душистое мыло. Нас она всегда угощала миниатюрными «дамскими пальчиками» из сдобного теста. Однако миссис Джеймисон снисходительно извинила мисс Баркер это незнание обычаев высшего света и, чтобы не подчеркивать ее промаха, скушала три больших куска тминного бисквита с невозмутимым благодушием жующей коровы.

После чая произошло некоторое замешательство. Нас было шестеро, а потому четверо могли составить партию в преферанс, предоставив двум остальным развлекаться криббеджем. Однако все, кроме меня (я побаивалась крэнфордских дам за картами, потому что для них не существовало занятия более важного и серьезного), выразили твердое желание сыграть пульку-другую. Даже мисс Баркер, хотя она и заверяла всех, что не отличит мизера от марьяжа, тем не менее, несомненно, горела желанием сесть за преферанс. Однако вскоре весьма неожиданный звук положил конец затруднению. Если бы возможно было предположить, что невестка барона способна храпеть, я сказала бы, что миссис Джеймисон в эту минуту испустила залихватый храп, ибо в комнате было жарко, а она от природы была склонна к сонливости и не устояла перед соблазном чрезвычайно покойного кресла — и вот миссис Джеймисон сморила

дремота. Раза два она с усилием открывала глаза и улыбалась нам тихой, хотя и рассеянной улыбкой, но даже любезность недолго могла подвигать ее на такие усилия, и она погрузилась в крепкий сон.

— Мне очень лестно, — прошептала мисс Баркер за карточным столиком своим трем партнершам, которых она, несмотря на полное незнакомство с преферансом, немилосердно обыгрывала, — очень-очень лестно видеть, что миссис Джеймисон чувствует себя совсем как дома в моем бедном маленьком жилище; я не могу вообразить более приятного комплимента.

Меня мисс Баркер снабдила книгами — в форме четырех прекрасно переплетенных комплектов модных журналов десятилетней давности — и, придвинув маленький столик со свечой, предназначенной для меня одной, объяснила, что ей известно, как молодежь любит смотреть картинки. Карло лежал у ног своей хозяйки, похрапывая и вздрагивая. Он тоже чувствовал себя совсем как дома.

Наблюдать за сценой, разыгрывавшейся над карточным столом, было очень интересно. Четыре быстро кивающие чепца почти сталкивались над его серединой, «торгуясь» шепотом, но в спешке иногда повышая голос, и мисс Баркер то и дело увещевала их:

— Тише, сударыни! Будьте добры, тише, миссис Джеймисон почивает.

Лавировать между глухотой миссис Форрестер и дремотой миссис Джеймисон было очень нелегко. Но мисс Баркер превосходно справлялась со своей тяжелой задачей. Она шепотом повторяла то, что было сказано, гримасами и движением губ стараясь втолковать миссис Форрестер, что объявили их партнерши, а затем ласково улыбалась всем нам и бормотала про себя:

— Очень-очень лестно! Ах, если бы моя бедная сестрица дожила до этого дня!

Внезапно дверь широко распахнулась, Карло вскочил, отрывисто затыкал, и миссис Джеймисон проснулась. А может быть, она вовсе и не спала — ведь, как она объяснила почти тут же, комната была так ярко освещена, что ей пришлось закрыть глаза, но она с большим интересом слушала нашу остроумную и поучительную беседу. На пороге вновь появилась Пегги, пунцовая от важности.

«О, хороший тон! — подумала я. — Снесешь ли ты этот последний удар?»

Ибо мисс Баркер заказала на ужин (вернее, сама приготовила, в чем я нисколько не сомневаюсь, хотя она и воскликнула: «Пегги, что это вы нам принесли?» — а губы сложила в удивленную улыбку, показывая, какой это

для нее неожиданный, хотя и приятный сюрприз) самые изысканные яства — устриц в раскрытых раковинах, запеченных омаров, желе и кушанье, которое называется «купидончики» и весьма нравится крэнфордским дамам, но так дорого, что его подают лишь в самых торжественных случаях (не знай я более утонченного и античного его названия, я сказала бы, что это макароны, вымоченные в коньяке). Короче говоря, нас собирались потчевать самыми лучшими и самыми вкусными блюдами, а потому мы снисходительно подчинились гостеприимной хозяйке, хотя и в ущерб нашему хорошему тону, который вообще никогда не ужинал, что не мешало ему, подобно всем, кто не ужинает, томиться на званых вечерах особо острым голодом.

По-видимому, мисс Баркер в прежних своих сферах свела знакомство с напитком, который зовется «шеррибренди». Мы же — никто из нас — ничего подобного даже не видели и со светским недоумением отказались, когда она нам его предложила:

— Самую капельку, малюсенькую рюмочку, сударыни; запить устрицы и омаров. Говорят, они иногда проходят не очень легко.

Мы все закачали головами, точно китайские болванчики женского пола, но в конце концов миссис Джеймисон позволила себя уговорить, а мы последовали ее примеру. Напиток оказался не то чтобы невкусным, но таким жгучим и крепким, что мы сочли необходимым показать, насколько ни к чему подобному не привыкли, и принялись ужасно кашлять — почти так же странно, как мисс Баркер перед тем, как Пегги открыла нам дверь.

— Какой крепкий! — сказала мисс Пул, ставя на стол; пустую рюмку. — Право, в нем есть спирт.

— Только самая капелька, ровно столько, чтобы он не портился, — объяснила мисс Баркер. — Вот как мы смачиваем коньяком бумагу, которой закрываем банки с вареньем, чтобы оно не плесневело. Я частенько чувствую себя навеселе, покусав сливового пирога.

Я, однако, сомневаюсь, чтобы сливовый пирог понудил миссис Джеймисон пуститься в откровенности, а вот отведав шерри-бренди, она сообщила нам про ожидаемое событие, о котором до сих пор хранила, полное молчание.

— Моя свойственница леди Гленмайр намерена погостить у меня некоторое время...

Все хором воскликнули «Неужели!» и смолкли. Каждая из присутствующих дам мысленно перебирала свои туалеты, решая, годятся ли они для появления в обществе вдовы барона. Ведь когда у кого-нибудь из наших друзей кто-нибудь гостил, остальные обязательно устраивали

званные вечера и чаепития. И, услышав эту новость, мы все почувствовали приятное волнение.

Вскоре после этого явились служанки с фонарями, о чем и доложила Пегги. За миссис Джеймисон прибыл портшез, который с трудом втиснулся в узкую прихожую мисс Баркер, в буквальном смысле слова «закупорив проход». Старые носильщики (днем они были башмачниками, но когда их звали нести портшез, они обряжались в странного вида старые ливреи — длинные кафтаны с небольшой пелериной, ровесники портшеза, точно сошедшие с картин Хогарта<sup>[45]</sup>) долго и искусно маневрировали, пятились, поворачивались, повторяли все с начала, прежде чем им удалось выбраться со своей ношей из дверей мисс Баркер. Мы слышали быстрый drobный топот их ног по тихой улочке, когда надевали жесткие капюшоны и подшпиливали юбки. Мисс Баркер суетилась около и предлагала помощь — впрочем, если бы она не помнила о прежнем своем занятии и не желала, чтобы мы о нем забыли, она, несомненно, предлагала бы ее куда более настойчиво.



## ГЛАВА VIII

### «ВАША МИЛОСТЬ»

На другой день утром — сразу же после двенадцати — к мисс Мэтти явилась мисс Пул. Объясняя причину своего визита, она сослалась на какие-то пустяки, но было нетрудно догадаться, что за ее приходом кроется что-то более серьезное. Так оно и оказалось.

— Ах, кстати! Вы, конечно, сочтете меня невеждой, но знаете, я, право, теряюсь... как мы должны обращаться к леди Гленмайр? Надо ли говорить «ваша милость» в тех случаях, когда обыкновенным людям мы говорим «вы»? Я все утро ломаю над этим голову... И надо ли говорить «миледи» или, как всегда, «сударыня»? Вы ведь знакомы с леди Арли, так, может быть, вы объясните мне, как положено обращаться к титулованным особам?

Бедная мисс Мэтти! Она сняла очки, потом снова их надела, но так и не сумела вспомнить, как обращались к леди Арли.

— Это было так давно! — сказала она. — Ах, какая у меня плохая голова! К тому же я и видела ее раза два, не больше. Я хорошо помню, что сэра Питера мы называли «сэр Питер», но он бывал у нас гораздо чаще, чем леди Арли. Дебора бы знала! «Миледи»... «Ваша милость»... звучит очень странно, как-то неестественно. Я никогда раньше об этом не задумывалась, но теперь, когда вы меня об этом спросили, я, право, не знаю, что сказать...

Можно было уже не сомневаться, что мисс Пул не почерпнет у нас никаких полезных сведений: мисс Мэтти с каждой минутой все больше терялась и в конце концов совсем запуталась, как к кому следует обращаться.

— Право же, — объявила мисс Пул, — я думаю, мне будет лучше побывать у миссис Форрестер и рассказать ей о нашем небольшом затруднении. Ведь так легко разнервничаться... а не хотелось бы, чтобы леди Гленмайр думала, будто мы в Крэнфорде не имеем понятия о правилах этикета.

— Дорогая мисс Пул, может быть, вы заглянете сюда на обратном пути и скажете мне, на чем вы порешили. На чем бы вы с миссис Форрестер ни остановились, я уверена, что это будет правильно. «Леди Арли», «сэр Питер», — пробормотала мисс Мэтти, пытаясь припомнить, что именно

она говорила когда-то.

— А кто такая леди Гленмайр? — спросила я.

— О, она вдова мистера Джеймисона — покойного мужа миссис Джеймисон, то есть вдова его старшего брата. Миссис Джеймисон была в девичестве мисс Уокер, дочерью губернатора Уокера. «Ваша милость». Если они выберут это обращение, милочка, вам придется разрешить мне сначала немного попрактиковаться на вас. Не то, когда я в первый раз назову так леди Гленмайр, я совсем сконфужусь.

А потому мисс Мэтти испытала только облегчение, когда ее с весьма невежливой целью навестила миссис Джеймисон. Я не раз замечала, что апатичным людям свойственна особая тихая наглость — и миссис Джеймисон явилась весьма прозрачно намекнуть, что она предпочтет, чтобы крэнфордские дамы не делали визитов ее свойственнице. Я почти не помню, как она это выразила, потому что вся горела негодованием, пока она неторопливо объясняла свои желания мисс Мэтти, которая, как истинная леди, была просто не в состоянии понять чувство, заставлявшее миссис Джеймисон притворяться перед титулованной свойственницей, будто она водит знакомство только с лучшими семьями графства. Мисс Мэтти пребывала в полном недоумении еще долго после того, как я догадалась, что привело к ней миссис Джеймисон.

Когда же она поняла, к чему клонит высокородная дама, было просто удовольствие смотреть, с каким тихим достоинством она приняла столь неучтивую выходку. Мисс Мэтти нисколько не обиделась — для этого она была слишком добра и кротка, и, вероятно, сама не заметила возмущения, которое вызвало в ней поведение миссис Джеймисон. Но я уверена, что подобное чувство в ней все-таки пробудилось, и оттого-то она перевела беседу на другую тему не столь робко и более решительно, чем обычно. Из них двоих миссис Джеймисон держалась куда более нервно, и я заметила, что она была рада уйти.

Вскоре после этого вернулась мисс Пул, вся красная и негодующая.

— Нет, вы подумайте! У вас сейчас была миссис Джеймисон — мне Марта сказала, — и нас просят не делать визиты леди Гленмайр. Да! Я встретила миссис Джеймисон на полдороге к миссис Форрестер, и она так прямо мне об этом и заявила. От неожиданности я не смогла ничего ответить. А надо было бы сказать что-нибудь очень резкое и саркастическое. Ну, может быть, к вечеру я что-нибудь придумаю. А ведь леди Гленмайр — всего-навсего вдова шотландского барона, если уж на то пошло! Я все-таки решила побывать у миссис Форрестер, чтобы посмотреть в ее «Книге пэров», что это за леди, которую надо держать под

стеклянным колпаком: вдова шотландского барона, он никогда даже не заседал в палате лордов и, уж наверное, был нищ, как Иов, а сама она — пятая дочь какого-то там мистера Кэмбелла. Вы же как-никак дочь крэнфордского священника и в родстве с семейством Арли, а ведь сэр Питер мог бы стать виконтом Арли, все так говорят.

Мисс Мэтти попыталась успокоить мисс Пул, но ее усилия остались тщетными. Обычно добродушная и уступчивая, мисс Пул пылала гневом.

— А я-то сегодня утром заказала себе новый чепец! — воскликнула она в конце концов, выдав причину, почему требование миссис Джеймисон так ее уязвило. — Миссис Джеймисон еще увидит, удастся ли ей залучить меня в четвертые партнерши, когда у нее не будет гостить ее сиятельная шотландская родня!

Выходя из церкви в первое воскресенье после прибытия леди Гленмайр в Крэнфорд, мы усердно разговаривали друг с другом и поворачивались спиной к миссис Джеймисон и ее госте. Если нам нельзя сделать ей визита, то мы и смотреть на нее не желаем! (Хотя мы умирали от любопытства узнать, как она выглядит.) Но днем мы несколько утешились, — расспросив Марту. Она не принадлежала к тем сферам общества, чье внимание было бы косвенным комплиментом леди Гленмайр, и вдоволь нагляделась на приезжую.

— Это вы, сударыня, про коротенькую даму, которая была с миссис Джеймисон? А я думала, вам интереснее, как была одета молодая миссис Смит — она ведь новобрачная. (Миссис Смит была супругой мясника.) Мисс Пул воскликнула:

— Ах, боже мой! Да что нам за дело до какой-то миссис Смит! — но тут же умолкла, потому что Марта продолжала:

— На коротенькой даме, которая сидела рядом с миссис Джеймисон, платье было довольно-таки старое, черное шелковое, и накидка из пастушьего пледа, сударыня, глаза у нее черные и очень блестящие, сударыня, а лицо такое приятное и бойкое; не очень-то молода, сударыня, но я бы сказала, что помоложе миссис Джеймисон. Она все время церковь оглядывала, живо, будто птица, а юбки подхватила, выходя из дверей, до того быстро и бойко, что я только подивилась. И вот что я вам скажу, сударыня: уж так она похожа на миссис Дикон из» «Запряженной кареты», что сказать невозможно.

— Шшш, Марта! — перебила ее мисс Мэтти. — Это непочтительно!

— Разве, сударыня? Ну, так прошу прощения, только Джем Хирн то же самое сказал. Он сказал, что она такая же бойкая и хваткая баба...

— Леди, — поправила мисс Пул.

— ...леди, как миссис Дикон.

Миновало еще одно воскресенье, а мы по-прежнему отвращали наши взоры от миссис Джеймисон и ее гости и обменивались между собой замечаниями, которые нам казались весьма уничтожающими — едва ли не чересчур. Наша саркастическая манера выражаться, видимо смущала мисс Мэтти.

Быть может, к этому времени леди Гленмайр обнаружила, что дом миссис Джеймисон — не самое веселое и оживленное место в мире; быть может, миссис Джеймисон обнаружила, что большая часть лучших семейств графства отбыла в Лондон, а те, кто остался, не проявили должного интереса к пребыванию леди Гленмайр в столь близком от них соседстве. Великие события порождаются малыми причинами, а потому я не берусь судить, что заставило миссис Джеймисон переменить решение и разослать всем недавно отвергнутым крэнфордским дамам приглашение на небольшой вечер в следующий вторник. Приглашения разнес сам мистер Муллинар. Он упрямо не желал считаться с тем, что у каждого дома есть черный ход, и стучал в парадную дверь куда громче своей госпожи, миссис Джеймисон. Три маленькие записочки он нес в большой корзине, чтобы показать своей госпоже, какая это тяжесть, — хотя они без труда уместились бы в его жилетном кармане.

Мы с мисс Мэтти без долгих разговоров согласились, что прежде взятое на себя обязательство вынудит нас в указанный вечер остаться дома. Вечер вторника мисс Мэтти обычно посвящала тому, что скручивала из всех писем и записочек, полученных за неделю, длинные жгутики для зажигания свечей, — в понедельник она всегда приводила в порядок свои счета, не оставляя ни пенни долга за прошлую неделю, а потому скручивание жгутиков естественным образом падало на вторник, что давало нам законный предлог отклонить приглашение миссис Джеймисон. Однако прежде, чем наш ответ был написан, в гостиную влетела мисс Пул с развернутой запиской в руке.

— Вот так! — воскликнула она. — А! Я вижу, вы тоже получили записочку. Лучше поздно, чем никогда. Я могла бы предсказать миледи Гленмайр, что двух недель не пройдет, как она будет рада-радехонька нашему обществу.

— Да, — ответила мисс Мэтти, — нас пригласили на вечер вторника. И может быть, вы заглянете к нам в этот вечер выпить чая? Приходите с рукоделием. В этот день я всегда проглядываю счета и письма за прошлую неделю и скручиваю из них жгутики для свечей; но это все-таки нельзя назвать прежде взятым на себя обязательством, которое вынуждает меня

остаться дома, хотя я намеревалась ответить именно так. Если же вы придете, совесть моя будет совсем чиста, а, к счастью, ответ я еще не отослала.

Пока мисс Мэтти говорила, я заметила, что мисс Пул сильно переменялась в лице.

— Так, значит, вы решили не ходить? — спросила она.

— Разумеется, — спокойно ответила мисс Мэтти. — И вы, полагаю, тоже?

— Не знаю... — произнесла мисс Пул. — Нет, пожалуй, я пойду, — добавила она быстро и, заметив удивление на лице мисс Мэтти, объяснила: — Видите ли, было бы неприятно, если бы миссис Джеймисон подумала, будто ее поступки и слова настолько значительны, что могут кого-то оскорбить; это поставило бы нас в унижительное положение, чего я, например, вовсе не хочу. Для миссис Джеймисон было бы очень лестно, если бы мы дали ей повод думать, будто что-то ею сказанное мы помним неделю... нет, даже десять дней спустя.

— Да, наверное, нехорошо так долго хранить обиду и сердиться; к тому же она, возможно, вовсе и не хотела задеть нас. Но, должна признаться, сама я никогда не сказала бы того, что сказала миссис Джеймисон — чтобы мы не делали визитов... Нет, я, право, думаю, что не пойду.

— Полноте! Мисс Мэтти, вы должны пойти. Вы же знаете, что наш добрый друг миссис Джеймисон гораздо флегматичнее большинства людей и не разбирается в тонких чувствах, которыми вы наделены в столь значительной степени.

— В тот день, когда миссис Джеймисон явилась сказать, чтобы мы к ней не ходили, я как раз подумала, что они есть и у вас, — простодушно заметила мисс Мэтти.

Но у мисс Пул, кроме тонких, чувств, был еще и щегольской чепец, который она жаждала показать восхищенному миру, а потому она, по видимому, совершенно забыла гневные слова, произнесенные ею менее, двух недель назад, и была готова руководствоваться в своих поступках тем, что она назвала великим христианским принципом «простить и забыть». Она очень долго читала милой мисс Мэтти наставления в этом духе и под конец даже объявила, что она, как дочь покойного крэнфордского священника, просто обязана купить новый чепец и отправиться на званый вечер миссис Джеймисон. И потому мы «с большим удовольствием приняли», а не «с большим сожалением вынуждены были отказаться».

Расходы на туалеты в Крэнфорде исчерпываются главным образом

вышеупомянутой их частью. Если голова была спрятана под щегольским новым чепцом, наших дам, как и страусов, не заботила судьба их тела. Старенькие платья, белые почтенного возраста воротнички, множество брошей и вверху, и внизу, и спереди, и с боков (одни с нарисованными собачьими глазами, другие как золоченые рамки, охватывающие гробницы и плакучие ивы, искусно выложенные из волос, а третьи — с миниатюрами дам и джентльменов, сладко улыбающихся из складок накрахмаленного муслина) — старые броши, как неизменное украшение, и новые чепцы, как дань моде: крэнфордские дамы всегда одевались с целомудренной элегантностью и строгостью, по удачному выражению мисс Баркер.

И вот в тот достопамятный вторник миссис Форрестер, мисс Мэтти и мисс Пул явились к миссис Джеймисон в трех новых чепцах, а также с таким набором брошей, какого Крэнфорд не видел со дня своего основания. На платье мисс Пул я насчитала семь брошек. Две были небрежно приколоты к чепцу (одна, из шотландской гальки, изображала бабочку, и при очень живом воображении ее можно было принять за настоящее насекомое), одна скрепляла у горла косынку, одна — воротничок, одна украшала корсаж на полпути от воротничка к талии, а еще одна красовалась на поясе. Где помещалась седьмая, я запомнила, но где-то она была, это я знаю твердо.

Но я забежала вперед. Прежде чем описывать туалеты, мне следовало бы рассказать о прибытии общества к миссис Джеймисон. Эта дама проживала в большом доме, расположенном как раз за чертой города. Дорога, про которую было известно, что она должна стать улицей, проходила возле самой парадной двери, не отделенная от нее ни садом, ни двором. Солнце ни при каких обстоятельствах не озаряло фасада этого дома. Правда, жилые комнаты располагались в задней его части и выходили на прекрасный сад, а окна фасада принадлежали кухням, комнате экономки и кладовым, и в одном из этих помещений, по слухам, имел обыкновение восседать мистер Муллинер. И правда, краешком глаза мы нередко видели его затылок, густо обсыпанный пудрой, которая покрывала также воротник сюртука и простиралась ниже до самого пояса. Эта внушительная спина неизменно бывала занята чтением «Сентджеймской хроники», раскрытой во всю ширину, чем отчасти и объяснялось запоздание, с каким газета добиралась до нас, — подписную плату мы вносили в равных долях с миссис Джеймисон, но, по праву своей высокородности, она всегда читала ее первой. В этот же вторник задержка очередного номера была особенно неприятной, так как и мисс Пул, и мисс Мэтти — в особенности первая — жаждали перед общением с аристократией запастись самыми свежими

придворными новостями. Мисс Пул сказала нам, что нарочно оделась к пяти часам и до последней минуты ждала, не принесут ли «Сентджеймскую хронику» — ту самую «Сентджеймскую хронику», которую безмятежно читала, напудренная голова, когда мы проходили мимо знакомого окна.

— Какая наглость! — произнесла мисс Пул тихим негодующим шепотом. — Я бы с удовольствием спросила у него, не вносит ли его хозяйка четвертую часть подписной платы лишь для того, чтобы газету читал он один.

Мы посмотрели на нее с восхищением, ошеломленные смелостью этой мысли, ибо мистер Муллинер внушал всем нам трепетное благоговение. Он, казалось, ни на миг не забывал, какую честь сделал Крэнфорду, снизойдя поселиться здесь. Мисс Дженкинс, твердо отстаивая достоинство своего пола, порой обращалась к нему, как к равному, но даже мисс Дженкинс не была способна на большее. В самом веселом и милостивом расположении духа он походил на обиженного какаду. Говорил он ворчливо и односложно. Он всегда оставался в прихожей, как мы ни умоляли его не ждать нас, и тотчас делал оскорбленную физиономию из-за того, что мы задерживаем его там; мы же дрожащими руками старались побыстрее привести себя в презентабельный вид.

Когда мы поднимались по лестнице, мисс Пул дерзнула пошутить — обращаясь как будто бы к нам, она рассчитывала позабавить мистера Муллингера. Мы все улыбнулись, чтобы показать, насколько непринужденно мы себя чувствуем, и робко покосились на мистера Муллингера в поисках поддержки. Ни один мускул не дрогнул на этом деревянном лице, и мы тотчас перестали улыбаться.

Гостиная миссис Джеймисон выглядела очень уютно: заходящее солнце заливало ее своими лучами, а большое квадратное окно было обрамлено вьющимися растениями. Мебель была белой с золотом, и отнюдь не позднего стиля (стиля Людовика Четырнадцатого, как, если не ошибаюсь, его называют) со всеми этими раковинами и завитушками. О нет! Стулья и столы миссис Джеймисон не имели ни единой кривой линии, ни единого изгиба. Ножки столов и стульев сужались книзу, но были строго четырехугольными. Стулья были расставлены в один ряд вдоль стены, кроме пяти, выстроенных правильным полукругом у камина. Спинки их украшали белые поперечины с золочеными шишечками. Ни поперечины, ни шишечки не располагали сидящего к непринужденной позе. Лакированный столик был посвящен литературе — на нем покоились Библия, «Книга пэров» и молитвенник. Еще один, квадратный столик был

отведен под изящные искусства, и на нем нашли приют калейдоскоп, карточки для игры в разговоры, карты-головоломки (нанизанные на выцветшую атласную ленту, которая в свое время была розовой) и шкатулка, старательно расписанная по образцу чайных ящичков. Карло лежал на вышитом коврике и неучтиво залаял, когда мы вошли. Миссис Джеймисон встала, одарила каждую из нас вялой улыбкой и беспомощно поглядела мимо нас на мистера Муллинера, словно надеясь, что он нас усадит, — если же нет, то у нее для этого сил не найдется. А он, вероятно, полагал, что мы и сами отыщем дорогу к полукругу стульев у камина — полукруг этот, уж не знаю почему, привел мне на память Стоунхендж.<sup>[46]</sup> Леди Гленмайр пришла на помощь нашей хозяйке, и впервые в доме миссис Джеймисон нас усадили уютно, а не кое-как. Леди Гленмайр, когда теперь наконец мы смогли поглядеть на нее, оказалась живой, низенькой женщиной средних лет — в юности она, несомненно, была очень хорошенькой и все еще сохраняла миловидность. Я заметила, что первые пять минут мисс Пул посвятила разглядыванию ее платья, и полагаюсь на суждение, которое слышала от нее на другой день:

— Душечка! Все, что на ней было, не стоило и десяти фунтов — даже вместе с кружевом.

Мысль о том, что и вдова барона может еле сводить концы с концами, была не лишена приятности и отчасти примирила нас с тем, что ее супруг никогда не заседал в палате лордов: ведь когда мы впервые услышали об этом, нами овладело такое чувство, будто у нас обманом выманили наше уважение — вроде бы лорд и все-таки не лорд.

Вначале мы все хранили почти нерушимое молчание. Мы размышляли, какую тему избрать, какая беседа будет достаточно возвышенна, чтобы оказаться достойной внимания ее милости. Недавно подорожал сахар, а так как приближалась пора варки варенья, эта новость волновала все наши хозяйственные сердца и стала бы естественным предметом разговора, если бы рядом не было леди Гленмайр. Но мы не были уверены, ест ли титулованная знать варенье, и тем более — осведомлена ли эта знать о том, как оно варится. Наконец, мисс Пул, наделенная немалым мужеством и *savoir faire*,<sup>[47]</sup> обратилась к леди Гленмайр, которая, по-видимому, тоже не знала, как прервать затянувшееся молчание, со следующим вопросом.

— Давно ли ваша милость изволили быть при дворе? — осведомилась она и обвела нас немного смущенным, но торжествующим взглядом, словно говоря: «Видите, как тонко я выбрала тему, подобающую рангу этой



приезжей».

— Я там ни разу в жизни не бывала, — сказала леди Гленмайр с сильнейшим шотландским акцентом, но очень приятным голосом. А затем, словно извиняясь за резковатость такого ответа, она добавила: — Мы очень редко ездили в Лондон — только два раза за все время моего замужества, а до этого нас у отца было так много («пятая дочь мистера Кэмбелла», — конечно, подумали мы все), что он не мог нас часто вывозить — даже в Эдинбург. Может, кто-нибудь из вас бывал в Эдинбурге? — спросила она со внезапной надеждой, что эта тема может оказаться обоюдоинтересной. Никто из нас в Эдинбурге не бывал, но дядя мисс Пул однажды переночевал там, что мы и выслушали с большим удовольствием.

Тем временем миссис Джеймисон предавалась недоуменным размышлениям о том, почему мистер Муллинер не подает чая, и в конце концов это недоумение просочилось из ее губ.

— Так я позвоню, дорогая? — энергично сказала леди Гленмайр.

— Нет... лучше не надо... Муллинер не любит, когда его торопят.

Нам всем очень хотелось чаю, так как мы обедали в более ранний час, чем миссис Джеймисон. Подозреваю, что мистер Муллинер не пожелал отрываться от «Сентджеймской хроники» ради того, чтобы утруждать себя сервировкой чая. Его госпожа ерзала на стуле и время от времени повторяла:

— Не понимаю, почему Муллинер не несет чая. Не понимаю, чем он занят.

Леди Гленмайр тоже исполнилась нетерпения, но скорее из сочувствия, и, воспользовавшись тем, что миссис Джеймисон не отвергла ее предложения с прежней категоричностью, довольно резко дернула сонетку. Мистер Муллинер вступил в гостиную с видом надменного удивления.

— О! — сказала миссис Джеймисон. — Позвонила леди Гленмайр. Если не ошибаюсь, ей хотелось бы чаю.

Через две-три минуты чай был подан. Очень хрупким был фарфор, очень старинным — серебро, очень тоненькими — ломтики хлеба с маслом и очень маленькими — кусочки сахара. Несомненно, у миссис Джеймисон любимой статьей экономии был сахар. Крохотные филигранные щипчики, более всего похожие на миниатюрные ножницы, вряд ли были способны раскрыться настолько, чтобы ими можно было взять честный, вульгарный, основательный кусок сахара. А когда я попыталась ухватить два карликовых кусочка сразу, чтобы мои паломничества к сахарнице не были так заметны, щипчики тотчас выронили один кусочек, резко звякнув самым злобным и противоестественным образом. Но еще раньше нам пришлось

пережить некоторое разочарование. В маленьком серебряном молочнике были сливки, в молочнике побольше — молоко. Едва мистер Муллинер вошел с подносом, как Карло встал на задние лапки и начал умоляюще помахивать передними, чего нам не позволяла сделать благовоспитанность, хотя я уверена, что голодны мы были не меньше, и миссис Джеймисон сказала, что мы, наверное, извиним ее, если она сначала утолит жажду своего бедненького безгласного Карло. Она тотчас поставила перед ним полное блюдечко, объяснив нам, как умен и рассудителен ее голубчик: он отлично умеет узнавать сливки и ни за что не станет пить чай, если в него налито всего лишь молоко. И молоко было оставлено нам, но мы про себя подумали, что мы умны и рассудительны не меньше, чем Карло, а потому почувствовали себя не только обойденными, но еще и оскорбленными — ведь нас приглашали восхищаться тем, как он виляет хвостиком, изъявляя благодарность за сливки, которые по праву должны были достаться нам. После чая мы оттаяли до обычных тем беседы. Мы были очень благодарны леди Гленмайр за то, что она попросила подать еще хлеба с маслом, и эта общая нужда сблизила нас с ней куда больше, чем самые долгие разговоры о придворных новостях, хотя мисс Пул и говорила потом, что ей очень хотелось узнать, как поживает наша возлюбленная королева, от кого-то, кто видел ее своими глазами.

Дружба, порожденная хлебом с маслом, укрепилась за картами. Леди Гленмайр отлично играла в преферанс и была величайшим знатоком как омбра, так и кадрили.<sup>[48]</sup> Даже мисс Пул забывала говорить «миледи» и «ваша милость» и с такой невозмутимостью заявляла «ваша сдача, сударыня» и «у вас марьяж, если не ошибаюсь?», словно мы никогда не дебатировали на великом крэнфордском парламенте вопроса о том, как надлежит обращаться к жене барона.

И, словно доказывая, с какой полнотой мы забыли, что находимся в присутствии той, кто могла бы выйти к чаю не в чепце, а с баронской короной на голове, миссис Форрестер поведала леди Гленмайр любопытную историйку, хорошо знакомую кружку ее ближайших друзей, но неизвестную даже миссис Джеймисон. Историйка эта касалась ее воротничка из чудных старинных кружев, единственной памяти о лучших днях, который вызвал восхищение леди Гленмайр.

— Да, — начала миссис Форрестер, — теперь такого кружева нельзя найти ни за какие деньги. Мне рассказывали, что его плели какие-то монахини за границей. И говорят, даже там его больше не делают. Но, может быть, теперь, когда они провели билль об эмансипации католиков, они снова начали его плести. Ну, а пока я очень дорожу моим кружевом. Я

боюсь доверить его стирку даже моей горничной (она имела в виду ту уютскую девочку, о которой я уже упоминала, — однако наименование «моя горничная» очень ее возвышало). И всегда стираю его сама. — И однажды оно чуть-чуть не погибло. Конечно, вашей милости известно, что такие кружева нельзя ни крахмалить, ни гладить. Некоторые стирают их в сахарной воде, а другие — в кофе, чтобы они обрели нужную желтизну, но сама я пользуюсь очень хорошим рецептом и стираю их в молоке — оно их и подкрахмаливает, и придает им очень хороший сливочный цвет. Так вот, сударыня, я аккуратненько их сложила (а прелесть тонких кружев в том, что они занимают совсем мало места, если их намочить) и опустила в молоко, но тут, к несчастью, мне пришлось выйти из комнаты. Вернувшись, я увидела на столе мою кисоньку: она воровато оглядывалась и как-то странно кашляла, точно подавилась. И представьте себе, сначала я ее пожалела! Я сказала: «Бедная кисонька, бедная кисонька!» — и вдруг увидела, что чашка с молоком пуста — вылизана досуха! «Ах ты, скверная кошка!» — вскричала я и, право же, так рассердилась, что шлепнула ее, но это не принесло никакой пользы, а только протолкнуло кружево дальше — ну, как хлопают ребенка по спине, когда он подавится. Я чуть не расплакалась от досады, но решила, что попробую что-нибудь придумать, а не сдамся без борьбы. Я надеялась, что от кружева ей может стать нехорошо, но, наверное, сам Иов не выдержал бы, если бы увидел, как всего четверть часа спустя эта кошка преспокойно вошла в комнату и замурлыкала, будто просила, чтобы ее погладили. «Нет, кисонька! — сказала я. — Если у тебя есть хоть какая-то совесть, то уж этого ты ждать не можешь!» И тут на меня снизошло озарение. Я позвонила горничной и послала ее к мистеру Хоггину попросить у него от моего имени сапог. Мне казалось, что в такой просьбе нет ничего особенного, но Дженни потом говорила, что молодые люди в приемной хохотали чуть ли не до упаду оттого, что мне понадобился сапог. Когда он был принесен, мы с Дженни засунули в него кисоньку, загнув ее передние лапки вниз, так что она не могла их высвободить и начать царапаться, а потом дали ей ложечку смородинового желе, в которое (прошу прощения у вашей милости) я подмешала рвотного камня. Никогда не забуду, в какой тревоге я провела следующие полчаса. Я отнесла кисоньку к себе в спальню и расстелила на полу чистое полотенце. Я чуть было не расцеловала ее, когда она вернула кружево почти совсем таким, каким оно было раньше. У Дженни уже кипела вода, и мы долго его отмачивали и снова отмачивали, а потом разложили на ветках лавандового куста на солнцепеке, и только после этого я смогла до него дотронуться и положила его снова в молоко. Зато, теперь

вашей милости и в голову бы не пришло, что оно побывало внутри у кисоньки.

В течение вечера мы узнали, что леди Гленмайр намерена гостить у миссис Джеймисон еще долго, так как от своей квартиры в Эдинбурге она отказалась и у нее не было причин торопиться в этот город. Мы скорее этому обрадовались, так как она произвела на нас самое приятное впечатление, а к тому же было весьма утешительно убедиться по некоторым косвенным намекам, что она не только обладает многими аристократическими качествами, но и совершенно чужда «вульгарного богатства».

— Но ведь вам, должно быть, очень неудобно возвращаться домой пешком? — осведомилась миссис Джеймисон, когда было доложено о приходе наших горничных.

Миссис Джеймисон неизменно задавала этот вопрос: ведь у нее в сарае стояла собственная карета и она всегда брала портшез, даже когда идти было совсем недалеко. Ответы были не менее привычными.

— О нет! Ведь вечер такой приятный и безветренный!

— Прогулка удивительно освежает после оживленного вечера!

— Звезды так хороши!

(Последняя фраза принадлежала мисс Мэтти.)

— Вы любите астрономию? — спросила леди Гленмайр.

— Не очень, — ответила мисс Мэтти, от смущения перепутав астрономию с астрологией. Впрочем, в любом случае она сказала чистую правду, так как читала астрологические предсказания Фрэнсиса Мура, и они ее напугали, а относительно астрономии она однажды в доверительной беседе призналась мне, что не верит, будто Земля находится в непрерывном движении, и ни за что не поверила бы, даже если бы могла, — стоит ей подумать об этом, как ее одолевают головокружение и дурнота.

Постукивая деревянными калошками, мы в этот вечер ступали по плитам тротуара с особым изяществом, так как наши чувства обрели необыкновенную утонченность и аристократичность после чая с «ее милостью».

## ГЛАВА IX

### СИНЬОР БРУНОНИ

Вскоре после событий, которые я описала в прошлый раз, мне пришлось вернуться домой, так как захворал мой отец. Я очень тревожилась за него и некоторое время вовсе не думала ни о том, как поживают мои милые крэнфордские друзья, ни о том, как леди Гленмайр переносит скуку столь долгого своего визита к миссис Джеймисон, у которой она продолжала гостить. Когда отец немного окреп, я уехала с ним к морю, и всякая моя связь с Крэнфордом прервалась: почти год я не получала никаких известий о моем милом городке.

В конце ноября, когда отец совсем поправился и мы возвратились домой, я получила письмо от мисс Мэтти — весьма таинственное письмо. Она начинала фразу за фразой, не доводя их до конца, сливая их друг с другом и перепутывая столь же беспорядочно, как перепутываются слова на промокательной бумаге. Мне удалось разобрать только следующее: если моему батюшке лучше (на что она от души надеется) и если он вонмет предостережению и будет носить шубу с Михайлова дня до благовещенья, то не могу ли я сообщить ей: в моде ли тюрбаны? Ожидается такое развлечение, какого в городе никто не видел с тех самых пор, когда приезжали уомвелловские львы<sup>[49]</sup> и один из них откусил ручку маленького ребенка, а она, пожалуй, уже слишком стара, чтобы думать о платьях, но без нового чепца обойтись никак нельзя, и, узнав, что сейчас носят тюрбаны и, наверное, придут лучшие семьи графства, она хотела бы выглядеть прилично, если я привезу ей головной убор от своей модистки. Ах да! Какая рассеянность — она совсем забыла, она пишет в надежде, что я навещу ее в следующий вторник, потому что тогда она надеется доставить мне большое удовольствие, но писать об этом больше не будет и полагается на мой выбор, только цвет морской волны — ее любимый. На этом письмо кончалось, однако в постскриптуме мисс Мэтти добавила, что, пожалуй, ей следует сообщить мне замечательную крэнфордскую новость: на следующей неделе в среду и в пятницу синьор Врунони намерен показать свое неподражаемое магическое искусство в зале крэнфордской ассамблеи.

Я обрадовалась приглашению моей дорогой мисс Мэтти, независимо от фокусника, и твердо решила воспрепятствовать тому, чтобы она

обезобразила свое маленькое скромное личико огромным сарацинским тюрбаном, а потому купила ей очень милый изящный чепец того фасона, который носят пожилые дамы, однако у нее он вызвал лишь горькое разочарование, когда она проводила меня в спальню, якобы для того, чтобы помешать уголь в камине, но в действительности, я полагаю, затем, чтобы посмотреть, не покоится ли в шляпной картонке, которую я привезла, большой тюрбан цвета морской волны. Тщетно я крутила чепец на пальце, показывая, как он выглядит сбоку и сзади, — ее заветной мечтой был тюрбан, и теперь она сумела только сказать, видом и голосом выражая покорность судьбе:

— Я знаю, вы сделали все, что могли, милочка. Он совершенно такой, какие носят в Крэнфорде все дамы уже целый год. Признаюсь, мне хотелось чего-нибудь поновее — чего-нибудь вроде тюрбанов, которые, как говорит мисс Бетти Баркер, носит королева Аделаида. Но он очень красивый, милочка, и лиловый цвет гораздо практичнее цвета морской волны. Да и к тому же не о нарядах должен думать человек. Если вам что-нибудь понадобится, милочка, вы мне скажете? Вот колокольчик. Наверное, тюрбаны еще не появились в Драмбле?

С этими словами милая старушка грустно вздохнула и вышла из комнаты, оставив меня переодеваться к вечеру, — она ожидала мисс Пул и миссис Форрестер и выразила надежду, что я не очень устала и смогу присоединиться к ним. Разумеется, я не устала и поспешила распаковать саквояж и привести в порядок свое платье, но, как я ни торопилась, гости прибыли прежде, чем я была готова, и я услышала голоса в гостиной. Когда я открывала дверь, до меня донеслись слова:

— Было глупо ждать, что в лавках Драмбла может найтись что-то аристократичное. Бедная девочка, она сделала все, что могла, в этом я не сомневаюсь!

Однако даже если бы она бранила не только Драмбл, но и меня, я все-таки была бы рада: лишь бы она не изуродовала себя тюрбаном.

Из трио крэнфордских дам, сидевших сейчас в гостиной, наибольшее число приключений всегда выпадало на долю мисс Пул. У нее была привычка все утро ходить по лавкам, где она ничего не покупала (разве что клубочек ниток или кусок тесьмы), а только рассматривала новые товары и собирала городские новости. Кроме того, она имела обыкновение ничтоже сумняшеся заглядывать в самые разные места, чтобы удовлетворить свое любопытство, что, если бы не ее аристократичный и чопорный вид, могло бы быть сочтено наглостью. И теперь по тому, как она выразительно откашливалась, выжидая, чтобы все второстепенные темы (вроде чепцов и

тюрбанов) были убраны с дороги, мы поняли, что она готовится в первую же паузу сообщить нам нечто особое — а какой человек, наделенный хотя бы малой толикой стеснительности, сумеет долго поддерживать непринужденную беседу, если один из собеседников презрительно молчит, пропуская мимо ушей все, что говорит общество, словно это жалкие, банальные пустяки в сравнении с новостью, которую он мог бы поведать, если бы его попросили об этом надлежащим образом? Мисс Пул начала:

— Сегодня, когда я вышла из лавки Гордона, я случайно заглянула к «Георгу» (троюродная сестра моей Бетти служит там горничной, и я подумала, что Бетти будет приятно узнать, как ей живется), но никого не увидела и поднялась по лестнице в зал ассамблеи. (Мы с вами не забыли этого зала, мисс Мэтти, ведь верно? И *menuets de la cour*!<sup>[50]</sup> В рассеянности я вошла, совсем не думая, куда и зачем я иду, как вдруг заметила, что приготовления к завтрашнему вечеру там в самом разгаре — зал перегородили поперек большими рамами, и подмастерья Кросби как раз набивали на них красную фланель. Кругом было темно и жутко, и я, совсем растерявшись, все в том же рассеянии пошла за ширмы, как вдруг какой-то джентльмен (настоящий джентльмен, уверяю вас) преградил мне дорогу и спросил, по какому делу он мог бы мне служить. Он говорил на таком ломаном языке, что я невольно вспомнила «Тадеуша Варшавского», «Венгерских братьев»<sup>[51]</sup> и «Санто Себастьяни». И пока я мысленно рисовала себе его прошлую жизнь он с поклонами вывел меня из зала. Но погодите! Вы еще и половины не слышали! Я уже спускалась по лестнице, как вдруг встретила — кого бы вы думали? — троюродную сестру моей Бетти! Разумеется, я остановилась поговорить с ней, чтобы сделать приятное Бетти, и она сказала мне, что я видела не более и не менее, как самого фокусника! Джентльмен, который объяснялся на ломаном языке, был не кто иной, как синьор Брунони! И в эту минуту он прошел мимо нас по лестнице с таким изящным поклоном! В ответ я сделала реверанс — у всех иностранцев такие учтивые манеры, что поневоле заражаешься. Однако, когда он спустился вниз, я спохватилась, что обронила в зале перчатку (на самом деле она преспокойно лежала у меня в муфте, но я обнаружила это только позже). А потому я вернулась, и в ту минуту, когда я подходила к проходу сбоку от ширмы, кого же я увидела? Того самого джентльмена, который остановил меня раньше, а потом обогнал на лестнице! Только теперь он появился из внутренней части зала, где нет никаких дверей, — вы-то помните, мисс Мэтти! — и снова спросил на своем приятном ломаном языке, по какому делу я сюда явилась. То есть он

выразился вовсе не так прямо, но, по-видимому, он твердо решил не пускать меня за ширму, а потому я объяснила, что потеряла перчатку, которая, как ни странно, в ту же самую минуту и отыскалась.

Так, значит, мисс Пул видела фокусника — настоящего живого фокусника! И мы засыпали ее вопросами:

— Он с бородой?

— Молодой или старый?

— Блондин или брюнет?

— Он выглядел, как... как... (И, запутавшись, я задала свой вопрос по-другому.) Как он выглядел?

Короче говоря, из-за своей утренней встречи мисс Пул стала героиней вечера. Если она и не была розой (то есть фокусником), то, во всяком случае, видела ее вблизи.

Фокусы, ловкость рук, магия, колдовство — вот о чем мы говорили весь этот вечер. Мисс Пул держалась несколько скептически и была склонна полагать, что можно найти научное объяснение даже для деяний Эндорской волшебницы.<sup>[52]</sup> Миссис Форрестер верила во все, начиная от привидений и кончая воем собаки, предсказывающим смерть. Мисс Мэтти становилась на сторону то одной, то другой, соглашаясь с доводами той, которая говорила последней. Мне кажется, внутренне ей были ближе взгляды миссис Форрестер, но это уравнивалось желанием показать себя достойной сестрой мисс Дженкинс — той мисс Дженкинс, которая никогда не разрешала служанкам называть «саванами» застывшие кружочки сала у основания свечки и всегда требовала, чтобы их называли «колечками». И чтобы сестра мисс Дженкинс была суеверна? Нет, об этом не может быть и речи!

После чая меня послали вниз в большую столовую за тем томом старинной энциклопедии, который содержал слова на букву «Ф», дабы мисс Пул могла набраться научных объяснений для фокусов, которые нам предстояло увидеть в следующий вечер. Это помешало партии в преферанс, на которую рассчитывали мисс Мэтти и миссис Форрестер, ибо мисс Пул так увлеклась статьей и иллюстрациями к ней, что нам казалось жестоким мешать ей, хотя я все-таки время от времени выразительно зевала в подходящий момент — меня глубоко трогала кротость, с какой мисс Мэтти и миссис Форрестер сносили свое разочарование. Впрочем, мисс Пул читала от этого только еще более усердно, делясь с нами интереснейшими сведениями вроде нижеследующих:

— А! Понимаю. Все ясно как божий день. Буква «А» означает шарик. Поместите «А» между «Б» и «Г»... нет-нет, между «В» и «Е» и прижмите



второй сустав среднего пальца своей левой руки к кисти своей правой Р. Что может быть проще! Дорогая миссис Форрестер, фокусы и колдовство целиком исчерпываются алфавитом. Разрешите, я прочту вам вот этот небольшой отрывок.

Миссис Форрестер жалобно попросила масс Пул пощадить ее, так как она с самого детства никогда не воспринимала того, что ей читали вслух. Тут я уронила колоду, которую тасовала, шурша картами как можно громче, и этим ловким маневром принудила мисс Пул вспомнить, что после чая предполагался преферанс, и с некоторой неохотой сесть за карточный столик. Как просияли лица ее двух партнерш! Мисс Мэтти, правда, довольно долго мучилась, потому что мисс Пул пришлось прервать свои научные изыскания, и она то и дело забывала карты и никак не могла сосредоточиться, пока не успокоила своей совести, предложив мисс Пул взять этот том энциклопедии домой. Мисс Пул с благодарностью согласилась, сказав, что Бетти захватит его, когда придет с фонарем.

Весь следующий день мы пребывали в радостном волнении при мысли об ожидающем нас удовольствии. Мисс Мэтти поднялась к себе в спальню переодеться задолго до назначенного часа и настояла, чтобы и я последовала ее примеру, а когда я была готова, мы обнаружили, что у нас остается еще полтора часа до того, как «двери откроются точно в семь». Пройти же до этих дверей нам нужно было всего двадцать ярдов! Однако, как сказала мисс Мэтти, нехорошо слишком чем-то увлекаться и забывать о времени, а потому нам следует спокойно посидеть, не зажигая свечей, до без пяти минут семь. Так мы и сделали: я вязала, а мисс Мэтти тихонько дремала.

В конце концов мы отправились в путь и у дверей под аркой «Георга» встретились с миссис Форрестер и мисс Пул — последняя с еще большей горячностью продолжала обсуждать вчерашнюю тему, так что «А» и «Б» сыпались на наши головы, точно град. Она даже записала, как она выразилась, «рецепты» разных фокусов на обороте старого конверта и была готова подмечать и объяснять все тонкости искусства синьора Брунони.

Мы вошли в гардеробную, которая примыкала к залу, и, поправляя свой хорошенький новый чепчик перед старинным зеркалом, совсем непохожим на нынешние, мисс Мэтти украдкой вздохнула, вспомнив свою ушедшую молодость и последний раз, когда она была тут. Зал ассамблеи был пристроен к гостинице лет сто назад на средства местных помещиков, которые зимой время от времени приезжали сюда с семьями, чтобы потанцевать и поиграть в карты. Немало провинциальных красавиц, позже танцевавших менуэт перед королевой Шарлоттой,<sup>[53]</sup> впервыеплыли в нем

по этому залу. Рассказывали, что его некогда озаряла своим присутствием одна из мисс Ганнинг,<sup>[54]</sup> и совершенно точно известно, что богатая красивая вдова леди Уильямс именно здесь была очарована благородной внешностью молодого художника, который писал портрет кого-то из местных помещиков и приехал со своим покровителем в крэнфордскую ассамблею. И если все, что рассказывают, правда, бедной леди Уильямс дорого обошелся ее красивый муж. Но теперь по сторонам зала не улыбалась и не заливалась румянцем ни одна красавица, и очаровательный художник не пленял сердца поклоном, *chapeau bras*;<sup>[55]</sup> зал стал угрюмым и грязным, розовая краска посерела, от лепных венков и гирлянд по стенам отвалились большие куски штукатурки, но все-таки он еще хранил аромат аристократичности, пусть тронутый тлением, и смутные воспоминания о давно прошедших днях заставили мисс Мэтти и миссис Форрестер, едва они вступили в него, гордо выпрямиться и изящно засеменить по проходу, точно на них были обращены взоры знатного общества, а не двух мальчишек, которые, коротая время, по очереди грызли большой леденец.

Мы остановились возле второго ряда. Я не сразу сообразила почему, но тут мисс Пул спросила у проходившего мимо полового, ожидаются ли на представлении первые семьи графства, и когда он, мотнув головой, сказал, что как будто нет, мисс Мэтти с миссис Форрестер сели в первом ряду перед мисс Пул и мной, и нам было очень удобно переговариваться. Первый ряд вскоре был усилен и обогащен леди Гленмайр и миссис Джеймисон. Так мы шестером занимали два передних ряда, и входившие время от времени компании лавочников, уважая наше аристократическое уединение, рассаживались на задних скамьях. Во всяком случае, так я решила, судя по звукам их голосов и по шуму, который они поднимали, плюхаясь на облюбованные места. Но когда, истомленная зрелищем упрямого зеленого занавеса, не желавшего подниматься и вперявшегося в меня сквозь дырочки двумя загадочными глазами, точно в повести о старинном гобелене, я готова была обернуться и посмотреть на веселое общество позади меня, мисс Пул сжимала мой локоть и умоляла не оборачиваться, ибо «так не делают». «Как делают», мне осталось неизвестно, но скорее всего это нечто невероятно скучное и утомительное. Как бы то ни было, мы все сидели, устремив взгляд прямо перед собой и выпрямив спину; мы смотрели только на дразнящий занавес и понижали голоса до неслышного шепота — так мы опасались поднять вульгарный шум в месте общественного развлечения. Удобнее всех устроилась миссис Джеймисон — она уснула.

Наконец глаза исчезли, занавес задергался, и одна его половина поднялась раньше второй, которую прочно заклинило; тогда первая половина вновь опустилась, и после новых усилий невидимой руки занавес все-таки взвился, открыв нашим взорам великолепного джентльмена в турецком костюме. Он восседал за маленьким столиком и смотрел на нас (по-моему, теми же самыми глазами, которые я перед этим видела в дырочках занавеса) с безмятежным и снисходительным величием, «будто существо иных сфер», как с чувством воскликнул кто-то позади меня.

— Это не синьор Брунони, — сказала мисс Пул решительно и столь громко, что, по-моему, он ее услышал, — во всяком случае, он бросил на нас поверх своей пышной бороды взгляд, исполненный немого упрека. — У синьора Брунони бороды нет, но, впрочем, может быть, он скоро выйдет.

Так она уговорила себя быть терпеливой. Тем временем мисс Мэтти произвела разведку через лорнет, протерла его и снова посмотрела. Затем она повернулась ко мне и сказала ласковым, кротким, печальным голосом:

— Вот видите, милочка, тюрбаны сейчас действительно носят.

Но времени на разговоры у нас не было. Великий Турок, как решила называть его мисс Пул, встал и представился зрителям как синьор Брунони.

— Я ему не верю! — воскликнула мисс Пул с вызовом. Он снова поглядел на нее тем же полным достоинства и упрека взглядом.

— Не верю! — повторила она с еще большей решительностью. — У синьора Брунони на подбородке не было этого меха, он выглядел, как подобает бритому христианину и джентльмену.

Энергичные возгласы мисс Пул сыграли свою благую роль, пробудив миссис Джеймисон, которая широко раскрыла глаза в знак пристальнейшего внимания, что заставило мисс Пул умолкнуть и позволило Великому Турку продолжить его речь, но изъяснялся он на очень ломаном языке — настолько ломаном, что между отдельными частями одного предложения нельзя было уловить никакой связи. В конце концов он сам это заметил и, оставив слова, приступил к делу.

Вот тут-то мы были поражены! Я не могла понять, как он умудряется проделывать все это — несмотря даже на мисс Пул, которая вытащила свой конверт и принялась читать вслух, весьма и весьма внятным шепотом, «рецепты» наиболее простых из его фокусов. Никогда мне еще не доводилось видеть, чтобы человек так свирепо хмурился, как хмурился Великий Турок на мисс Пул, но, как она сказала, не христианской же кротости ждать от мусульманина! Если мисс Пул держалась скептически и была занята не столько его фокусами, сколько своими «рецептами» и схемами, то мисс Мэтти и миссис Форрестер только дивились и пребывали

в крайнем недоумении. Миссис Джеймисон то и дело снимала очки и протирала их, словно думала, будто вся магия заключается в каком-то их изъяне, а леди Гленмайр, хотя она и навидалась в Эдинбурге всяких любопытных вещей, эти фокусы привели просто в восхищение, и она не согласилась с мисс Пул, которая заявила, что, немного попрактиковавшись, их может делать кто угодно, да и она сама возьмется повторить все его чудеса, если ей дадут час-другой, чтобы изучить статью в энциклопедии и развить гибкость среднего пальца.

В конце концов мисс Мэтти и миссис Форрестер пришли в состояние благоговейного ужаса и принялись перешептываться. Я сидела прямо позади них и невольно подслушивала их слова. Мисс Мэтти спросила у миссис Форрестер ее мнение, прилично ли присутствовать при подобном зрелище. Сама она опасается, не поощряют ли они нечто не вполне... Легкое покачивание головой восполнило многоточие. Миссис Форрестер ответила, что она думает то же самое и ей тоже кажется... все это так странно! Она убеждена, что в булке сейчас оказался ее собственный платок, а ведь всего пять минут назад она держала его в руке. И кто был поставщиком этой булки? Она убеждена, что не Дейкин, ведь Дейкин — церковный староста. Внезапно мисс Мэтти чуть-чуть повернулась ко мне.

— Милочка, не оглянетесь ли вы... вы ведь приезжая, и это не вызовет неприятных пересудов — не оглянетесь ли вы, чтобы посмотреть, присутствует ли здесь наш священник? Если он здесь, мы можем считать, что церковь одобряет представления этого чародея, и у меня на душе станет спокойнее.

Я оглянулась и увидела высокого сухопарого священника, который сидел среди мальчиков из приюта — эта стража, принадлежавшая к его собственному полу, позволяла ему не опасаться многочисленных крэнфордских старых дев. Его добродушное лицо расплывалось в широкой улыбке, а мальчики вокруг него весело хохотали. Я сказала мисс Мэтти, что церковь поощрительно улыбается, и она успокоилась.

Я еще ни разу не упоминала мистера Хейтера, крэнфордского священника, потому что мне, достаточно состоятельной и счастливой молодой девушке, не приходилось встречаться с ним. Он был старый холостяк, но опасался, что ему могут приписать матримониальные намерения, словно восемнадцатилетняя девушка, и на улицах при виде крэнфордских дам тотчас скрывался в первой попавшейся лавке или подворотне. И разумеется, я нисколько не удивлялась тому, что он отклонял решительно все приглашения на карточные вечера. По правде говоря, я всегда подозревала мисс Пул в том, что она усердно охотилась за мистером

Хейтером в первые годы его пребывания в Крэнфорде, и в этом меня ничуть не разубеждало то обстоятельство, что теперь она не менее его самого опасалась, как бы молва не начала соединять их имена. Он отдавал все свое время бедным и сирым и в этот вечер привел приютских мальчиков посмотреть представление, заплатив за них из собственного кармана. На этот раз добродетель обернулась собственной наградой, ибо они охраняли его со всех сторон, точно пчелиный рой — свою царицу. Он чувствовал себя среди них в такой безопасности, что осмелился даже поклониться нам, когда мы проходили мимо после конца представления. Мисс Пул, казалось, его не заметила и с удвоенной энергией принялась убеждать нас, что мы стали жертвой обмана и вовсе не видели настоящего синьора Брунони.

## ГЛАВА X

### ПАНИКА

Мне представляется, что приезд синьора Бруни в Крэнфорд действительно оказался началом той цепи событий, которые мы тогда связывали с ним, хотя не берусь утверждать, что он и правда имел к ним какое-то отношение. Внезапно городок наполнился всевозможными тревожными слухами. Произошло два грабежа — настоящих, bona fide<sup>[56]</sup> грабежа; виновники были арестованы и преданы суду — и тут все начали бояться, что их ограбят. Во всяком случае, у мисс Мэтти мы еще очень долго каждый вечер совершали обход кухонь, погребов и чуланов — процессию возглавляла мисс Мэтти, вооруженная кочергой, а за ней следовали я со щеткой и Марта с совком и каминными щипцами, дабы было чем подать сигнал тревоги, — нечаянно загремев ими, она часто ввергала нас в такой ужас, что мы запирались на засов в задней кухне, или в кладовой, или еще где-нибудь и прятались там, пока не приходили в себя, после чего продолжали обход с удвоенной бдительностью. Днем мы выслушивали от лавочников и обитателей окраин жуткие истории о повозках, запряженных лошадьми, чьи копыта были обернуты фетром, и о людях в темной одежде, которые в глухую ночь разъезжали в этих повозках по городу, — без сомнения, выискивая дом без охраны или незапертую дверь.

Мисс Пул, сама державшаяся с великой храбростью, старательно собирала эти истории и рассказывала их так, что они казались особенно страшными. Однако мы узнали, что она выпросила одну из старых шляп мистера Хоггинса, чтобы повесить ее у себя в прихожей, и усомнились (во всяком случае, я), действительно ли она сочтет появление у себя в доме грабителя таким уж забавным приключением, как утверждает. Мисс Мэтти сама называла себя большой трусихой, но продолжала ревностно совершать обход дома и только начинала его все раньше и раньше, так что в конце концов мы уже заканчивали его в половине седьмого, а в семь мисс Мэтти укладывалась спать, «чтобы ночь, поскорее прошла».

Крэнфорд так долго мнил себя честным и нравственным городом, что теперь воображал, будто и не может быть, ничем иным благодаря своей воспитанности и аристократичности, а потому темное пятно на его репутации причиняло ему удвоенные страдания. Но мы утешались сами и

утешали друг друга мыслью, что грабежи эти совершали не крэнфордцы — несомненно, такой позор мог навлечь на город лишь чужой человек (или чужие люди), и только из-за него нам приходилось принимать столько предосторожностей, точно мы жили среди краснокожих индейцев или французов.

Это последнее сравнение нашего еженощного осадного положения принадлежало миссис Форрестер, чей отец воевал под командованием генерала Бургойна<sup>[57]</sup> в Америке, а муж сражался с французами в Испании.<sup>[58]</sup> И она полагала, что именно французы каким-то образом повинны и в мелких кражах, которые представляли собой неоспоримый факт, и в грабежах и разбое на большой дороге, которые не шли дальше слухов. На нее в свое время глубочайшее впечатление произвели разговоры о французских шпионах, и она нет-нет да и обращалась вновь к этой мысли. Теперь ее теория была такова: крэнфордцы так уважают себя и так благодарны аристократии, милостиво соизволившей жить в поместьях вблизи городка, что они ни в коем случае не позволили бы себе запятнать свою благовоспитанность нечестностью или безнравственностью; следовательно, нам остается считать, что грабят люди пришлые. А если пришлые, то почему бы и не иностранцы? А если иностранцы, то уж кто, как не французы? Синьор Брунони говорил на ломаном языке, точно француз, и хотя он расхаживал в тюрбане, точно турок, миссис Форрестер ведь видела гравированный портрет мадам де Сталь<sup>[59]</sup> в тюрбане и портрет господина Денона<sup>[60]</sup> в таком же костюме, какой был на фокуснике, из чего неопровержимо вытекало, что тюрбаны носят не только турки, но и французы. И можно не сомневаться, что синьор Брунони — француз, французский шпион, выискивающий в Англии слабые и незащищенные города, а раз так, то он обязательно должен иметь сообщников. У нее, у миссис Форрестер, всегда было свое мнение о приключении мисс Пул в гостинице «Георг», когда та увидела двух человек там, где полагалось быть всего одному. Французы напридумали хитростей и уловок, о которых англичане, слава богу, и понятия не имеют, и она, хотя и пошла смотреть фокусника, все время чувствовала, что поступает дурно, — ведь это представление, наверное, выходило за границы дозволенного добрым христианам, хотя мистер Хейтер на нем и присутствовал. Короче говоря, мы еще никогда не видели миссис Форрестер в подобном волнении, а так как она была дочерью и вдовой офицера, мы, разумеется, очень считались с ее мнением.

По правде говоря, я не знаю, что было правдой, а что — ложью в

слухах, которые в то время распространялись по городку с быстротой пожара, но тогда мне представлялось вполне правдоподобным, что в Мардоне (маленьком городке в восьми милях от Крэнфорда) грабители проникали в дома и лавки через дыры, которые проделывали в стенах, разбирая и унося кирпичи в полночный час так бесшумно, что ни в доме, ни вокруг него никто не слышал ни звука.

Услышав об этом, мисс Мэтти в отчаянии сдалась.

Что толку, сказала она, в замках, засовах, колокольчиках на окнах и ежевечерних обходах дома? Эта уловка — настоящий фокус. И теперь она верит, что без синьора Брунони тут дело не обходится.

Как-то днем, часов около пяти, нас испугал торопливый стук в дверь. Мисс Мэтти велела мне бежать к Марте и сказать, чтобы она ни в коем случае не отпирала дверь пока она (мисс Мэтти) не произведет разведки через окно предварительно вооружившись скамеечкой для ног, дабы обрушить ее на голову неведомого гостя, когда в ответ на ее вопрос «кто тут?» он посмотрит вверх и окажется, что его лицо закрыто черным крепом. Но оказалось, что пришла всего лишь мисс Пул в сопровождении Бетти. Мисс Пул поднялась в гостиную. В руке она держала корзиночку и, несомненно, пребывала в состоянии величайшего волнения.

— Сберегите ее! — воскликнула она, когда я хотела взять у нее корзинку.

— Это мое столовое серебро. Я убеждена, что существует план ограбить нынче ночью мой дом. Я пришла поручить себя вашему гостеприимству, мисс Мэтти. Бетти будет ночевать у своей троюродной сестры в «Георге». Я могу, если вы разрешите мне остаться, всб ночь просидеть на стуле; ведь мой дом стоит в таком отдалении от остальных, что нас, конечно, никто не услышит, как бы мы ни кричали!

— Но что вас так встревожило? — осведомилась мисс Мэтти. — Вокруг вашего дома рыскали какие-нибудь подозрительные люди?

— О да! — вскричала мисс Пул. — Три раза мимо него прошли двое мужчин самого зловещего вида, а всего полчаса назад нищая ирландка, едва Бетти приоткрыла дверь, чуть не ворвалась в дом, твердя, что ее дети умирают с голоду и она должна поговорить с хозяйкой. Заметьте — «с хозяйкой», хотя в передней висела мужская шляпа и было бы естественнее сказать «с хозяином»! Но Бетти успела захлопнуть дверь и прибежала ко мне. И мы собрали ложки и сидели у окна до тех пор, пока не увидели, что Томас Джонс возвращается с работы, а тогда мы его окликнули и попросили проводить нас в город.

Мы могли бы с торжеством напомнить мисс Пул, как она щеголяла



своей храбростью, пока не напугалась, но мы очень обрадовались, убедившись, что и она не свободна от человеческих слабостей, а потому нам не хотелось злорадствовать. Я с большой охотой уступила ей на ночь свою комнату, а сама спала с мисс Мэтти. Но прежде, чем мы удалились на покой, они обе успели припомнить и рассказать столько жутких историй про грабежи и убийства, что у меня мороз по коже подирал от страха. Мисс Пул, по-видимому, очень хотела доказать, что, насмотревшись за свою жизнь столько ужасов, она имела право на этот раз струхнуть, а мисс Мэтти не желала отстать от нее и на каждый ее рассказ отвечала вдвое более страшным, и в конце концов мне почему-то вспомнилась старинная сказка про соловья и музыканта, которые, поспорив, кто поет лучше, соревновались до тех пор, пока бедная Филомела не упала мертвой.

Одна из их историй преследовала меня потом еще очень долго — история о девушке из Камберлена, которую оставили сторожить дом, когда остальные слуги отправились на ярмарку, а господа были в Лондоне. В дверь постучал бродячий торговец и попросил разрешения оставить на кухне большой и тяжелый тюк своих товаров, сказав, что вернется за ним вечером, а девушка (дочь егеря), бродя от скуки по дому, увидела в зале ружье и сняла его, чтобы рассмотреть поближе, а оно выстрелило в открытую дверь кухни прямо в тюк, и из него медленно-медленно просочилась темная струя крови. (С каким наслаждением мисс Пул рассказывала эту часть истории, смакуя каждое слово!) Описание дальнейшего мужественного поведения девушки она довольно-таки сократила, и у меня осталось только смутное представление, что та каким-то образом взяла верх над грабителями с помощью утюгов, которые сначала раскалила докрасна, а затем снова сделала черными, обмакнув в расплавленное сало.

Мы расстались на ночь, с трепетом думая о том, что нам доведется услышать утром, причем я испытывала лихорадочное желание, чтобы ночь поскорее прошла: ведь разбойники могли из какого-нибудь своего тайника увидеть, как мисс Пул уносила серебряные ложки, и тогда у них появилась бы двойная причина напасть на наш дом.

Однако нам не довелось услышать ничего необыкновенного, пока nasledующий день к нам не зашла леди Гленмайр. Кухонная утварь у задней двери сохраняла точно то же положение, какое мы с Мартой придали ей, нагромоздив кастрюли на сковородки, точно бирюльки, так что они обрушились бы с оглушительным грохотом, если бы к филенке притронулась снаружи хотя бы кошка. Я несколько недоумевала, что, собственно, должны мы будем делать, если этот сигнал тревоги разбудит

нас среди ночи, и сказала мисс Мэтти, что, по-моему, нам следует сунуть головы под одеяло — тогда грабители не будут опасаться, что мы сможем их впоследствии опознать. Однако мисс Мэтти, дрожа от страха, отвергла этот план и заявила, что наш долг перед обществом — помочь их аресту, и она, во всяком случае, постарается схватить их и запереть до утра на чердаке.

Когда пришла леди Гленмайр, мы чуть было ей не позавидовали: дом миссис Джеймисон действительно подвергся нападению! Во всяком случае, они увидели следы мужских сапог на клумбе под кухонными окнами, где «мужчинам делать нечего», а Карло лаял всю ночь напролет, словно вокруг дома бродили чужие. Миссис Джеймисон, была разбужена леди Гленмайр, и они вместе начали дергать сонетку колокольчика, который находится в комнате мистера Муллинера на третьем этаже, а когда в ответ на этот призыв его голова в ночном колпаке показалась над перилами и они сообщили ему о своих страхах, он тотчас скрылся в своей спальне, запер дверь — чтобы не сквозило, — как он объяснил им на следующее утро, и, приоткрыв окно, доблестно крикнул, что отделает предполагаемых грабителей по-свойски, если они поднимутся к нему на третий этаж. Однако, как заметила леди Гленмайр для них это было небольшим утешением — ведь, прежде чем взобраться к нему, грабители должны были бы пройти мимо ее спальни и спальни миссис Джеймисон, а к тому же оказаться необыкновенными любителями драк, иначе с какой стати они, вместо того чтобы спокойно грабить никем не охраняемые первый и второй этаж, полезли бы в мансарду, где им еще предстояло бы взломать дверь, чтобы наконец добраться до мужественного защитника этого дома. Леди Гленмайр некоторое время стояла в гостиной, прислушиваясь, а затем предложила миссис Джеймисон снова лечь спать, но та объявила, что ей будет спокойнее, если она не ляжет, а останется сидеть и сторожить Тепло укутавшись, миссис Джеймисон расположилась сторожить на диване, где в шесть часов утра горничная и обнаружила ее погруженной в глубокий сон. А леди Гленмайр легла в постель и до зари не сомкнула глаз.

Когда леди Гленмайр закончила свое повествование, мисс Пул удовлетворенно закивала. Она не сомневалась, что мы услышим о странных происшествиях в Крэнфорде в эту ночь — и вот мы о них слышали. Очевидно, грабители намеревались напасть на ее дом, но, убедившись, что они с Бетти начеку и унесли серебро, злодеи, изменив свой план, направились к дому миссис Джеймисон, и неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы Карло не залаял, как подобает хорошей собаке.

Бедный Карло! Ему уже недолго оставалось лаять. То ли разбойники,

рыскавшие по городку, боялись его, то ли, возжаждав отомстить ему за то, что он прогнал их в роковую ночь, они его отравили, то ли (как полагали люди менее образованные) его сразила апоплексия, потому что ел он много, а гулял мало — но, во всяком случае, через два дня после этой полной событий ночи Карло нашли мертвым. Он лежал, вытянув лапки, словно, бежал в надежде ценой столь непривычных усилий спастись от неумолимого преследователя, имя которому — Смерть.

Мы все очень жалели Карло, старого нашего друга, который столько лет таявал на нас, а таинственность его смерти внушила нам большую тревогу. Не кроется ли за всем этим синьор Брунони? Он ведь, по-видимому, убил канарейку одним властным словом, его воля как будто обладала смертоносной силой, и, как знать, не скрывается ли он где-нибудь в окрестностях Крэнфорда, творя с ее помощью всякие ужасы?

Мы шепотом обменивались этими предположениями по вечерам, однако утром мужество возвращалось к нам вместе с солнечным светом, и через неделю мы оправились от потрясения, которое причинила нам смерть Карло, — все, кроме миссис Джеймисон. Бедняжка горевала так, как не горевала со времени кончины своего супруга. Мисс Пул даже сказала, что высокородный мистер Джеймисон сильно пил и причинял ей немало страданий, а потому смерть Карло, быть может, оказалась для нее более тяжелым ударом. Впрочем, мисс Пул всегда была склонна к некоторому цинизму. Однако совершенно ясно было одно: миссис Джеймисон следовало переменить обстановку, и мистер Муллинер придерживался тут самой категорической точки зрения — он покачивал головой всякий раз, когда мы осведомлялись о здоровье его госпожи, и говорил про то, что она потеряла аппетит и спит очень дурно, самым зловещим голосом, и не без основания, так как наиболее естественным для нее состоянием всегда было есть и спать. И раз уж она не ест и не спит, значит, и дух ее, и здоровье совсем расстроены.

Леди Гленмайр (которой Крэнфорд, по-видимому, пришелся очень по вкусу) считала, что миссис Джеймисон вовсе незачем ехать в Челтнем, и не раз и не два ясно давала понять, что это затея мистера Муллинера, который очень перепугался, когда на дом было совершено нападение, и с тех пор имел обыкновение жаловаться на то, какая это тяжкая обязанность — защищать стольких женщин. Но как бы то ни было, миссис Джеймисон уехала в Челтнем под охраной мистера Муллинера, а леди Гленмайр осталась единственной хозяйкой в доме с поручением следить, чтобы служанки не обзаводились дружками. Дракон из нее получился очень милый, и едва выяснилось, что ей можно остаться в Крэнфорде, как она

пришла к выводу, что ничего лучше поездки миссис Джеймисон в Челтнем нельзя было и придумать. Свой дом в Эдинбурге она сдала и пока не имела собственного крова, а потому необходимость присматривать за удобным жилищем ее свойственницы пришлось ей очень кстати.

Мисс Пул полагала, что может с полным правом считаться героиней ввиду принятых ею решительных мер, когда она бежала от двух мужчин и одной женщины, которых она теперь называла не иначе, как «эта шайка убийц». Их внешность она описывала в самых ярких красках, и я заметила, что при каждом повторении ее рассказа к этой внешности добавлялась какая-нибудь новая злодейская черта. Один был высок — и стал великаном, прежде чем мы окончательно с ним расстались; разумеется, волосы у него были черные — и мало-помалу они превратились во всклокоченную гриву, падавшую ему на глаза и на плечи. Другой был низенький и коренастый — и прежде чем с ним было покончено, на спине у него вырос горб; волосы у него были рыжеватые, но скоро стали, морковными, и она была почти уверена, что один глаз у него слегка косил — оба глаза у него свирепо смотрели в разные стороны. А у женщины глаза горели злобой, и она отличалась мужским телосложением — скорее всего переодетый мужчина; позже мы слышали про щетину на ее подбородке, про басистый голос и мужскую походку.

Если мисс Пул с восторгом рассказывала о событиях этого дня всем, кто о них расспрашивал, то другие куда менее гордились своими столкновениями с грабителями. Мистер Хоггинс, врач, подвергся нападению у самого своего порога, едва дернул звонок, и два негодяя, скрывавшиеся в тени крыльца, успели заткнуть ему рот и ограбить его прежде, чем слуга открыл дверь. Мисс Пул не сомневалась, что этот разбой, конечно, окажется делом рук «ее шайки», и в тот же день, когда узнала про него, поспешила проверить, в порядке ли ее зубы, и расспросить мистера Хоггинса. От него она пришла прямо к нам, а потому мы узнали то, что она узнала непосредственно из первоисточника, пока еще пребывали в волнении, вызванном этой животрепещущей новостью, — ведь само событие произошло накануне вечером.

— Ну уж! — сказала мисс. Пул, опускаясь на стул с решительностью человека, который постиг смысл жизни и всего сущего (а такие люди никогда не ступают легко и садятся всегда плотно). — Ну уж, скажу я вам, мисс Мэтти! Мужчины — это мужчины. Любой из них желает, чтобы его считали Самсоном и Соломоном, вместе взятыми, таким сильным, что никто не способен побить его, и таким мудрым, что перехитрить его невозможно. Вы, наверное, замечали, что они всегда все знают наперед,

хотя объявляют об этом, только когда что-то уже случится. Мой отец был мужчиной, и я хорошо знаю всю их породу.

Она умолкла, чтобы перевести дух, и мы с удовольствием воспользовались бы этой паузой, дабы исполнить роль хора, но не совсем понимали, что нам следует сказать и какой, собственно, мужчина вызвал эту филиппику против всей их породы. А потому мы поддержали ее лишь укоризненным покачиванием головы и негромким восклицанием:

— Да, они непостижимы, что и говорить!

— Нет, вы только подумайте! — продолжала мисс Пул. — Я подвергаю себя опасности лишиться еще одного из оставшихся у меня зубов (ведь это ужасно, в какой власти у дантиста мы оказываемся! Я, например, всегда разговариваю с ними очень кротко, пока не вырву рта из их когтей), и все-таки мистер Хоггинс оказывается настоящим мужчиной и не желает сознаваться, что его вчера вечером ограбили!

— Так его не ограбили!? — воскликнул хор.

— Откуда вы это взяли! — вскричала мисс Пул, разгневавшись на наше легкоеверие. — Я убеждена, что его ограбили, как мне и рассказывала Бетти, только ему стыдно сознаться в этом. И разумеется, очень глупо, что он допустил, чтобы его ограбили на его собственном крыльце. Возможно, он чувствует, что это отнюдь не возвысит его в глазах общества, а потому пытается скрыть случившееся. Но он мог бы не стараться обмануть меня, утверждая, будто я слышала преувеличенное описание мелкой кражи, случившейся на прошлой неделе, когда у него из кладовой на заднем дворе похитили кусок баранины. Он имел наглость добавить, что, по его мнению, мясо утащила кошка. Не сомневаюсь, что, докопавшись я до истины, оказалось бы, что это был тот самый переодетый женщиной ирландец, который шпионил вокруг моего дома, прикрываясь историей о голодных детях.

После того как мы надлежащим образом осудили скрытность мистера Хоггинса и выбрали мужчин вообще, ссылаясь на него, как на типичного их представителя, мы вернулись к той теме, которую обсуждали, когда пришла мисс Пул, — а именно, можем ли мы в столь беспокойные времена принять приглашение, только что полученное мисс Мэтти от миссис Форрестер, которая, по обыкновению, хотела бы ознаменовать годовщину своей свадьбы чаем в пять часов и партией в преферанс после чая. Миссис Форрестер упомянула, что приглашает нас не с легкими сердцем, так как дороги, она боится, не безопасны. Но, продолжала она, может быть, кто-нибудь из нас согласится взять портшез, а остальные, ускорив шаги, попробуют не отстать от бегущих рысцой носильщиков, и таким образом

все мы благополучно доберемся до Оверплейса, городского предместья. (Нет, предместье — это слишком пышное обозначение для кучки домиков, отделенных от Крэнфорда пустырем ярдов в двести шириной, через который вела темная и уединенная дорога.) Можно было не сомневаться, что мисс Пул ждет дома такая же записка, а потому ее визит к нам оказался очень кстати: мы могли подробно обсудить с ней это приглашение. Мы все предпочли бы отклонить его, но чувствовали, что было бы жестоко предоставить миссис Форрестер в одиночестве вспоминать свою не очень счастливую и не слишком удачно сложившуюся жизнь. Мисс Мэтти и мисс Пул в течение многих лет обязательно бывали у нее в этот день, и теперь они храбро решили не отступать перед ужасами Темного проселка, лишь бы сохранить верность дружбе.

Однако, когда наступил вечер, мисс Мэтти (ибо было единодушно решено, что ввиду легкой простуды портшезом воспользуется она), прежде чем ее упрятали туда, как чертика в коробочку, взяла с носильщиков обещание, что они — что бы ни случилось — не убегут и не бросят ее, запертую в портшезе, на расправу убийцам. Но я заметила, что, после того как они дали требуемое обещание, ее лицо все же, выразило суровую решимость мученицы, и, глядя на меня сквозь стеклянную дверцу, она печально и зловеще покачала головой. Тем не менее мы добрались до дома миссис Форрестер вполне благополучно и только сильно запыхались — ведь речь шла о том, кто быстрее пробежит Темный проселок, и, боюсь, бедную мисс Мэтти порядком растрясло.

Миссис Форрестер сделала кое-какие добавления к обычному угощению в знак признательности за то мужество, с каким мы ради нее пренебрегли столь грозной опасностью. Неизменный ритуал аристократического неведения касательно того, какие яства вздумалось приготовить прислуге, был совершен, и вечер прошел бы в тихой гармонии за преферансом, если бы не увлекательный разговор, который завязался не знаю как, но касался, само собой разумеется, разбойников и грабителей, наводнивших окрестности Крэнфорда. Не отступив, перед опасностями Темного проселка и имея таким образом в запасе доказательство нашей храбрости, а к тому же, возможно, желая доказать, насколько мы превосходим мужчин (*videlicet*, <sup>[61]</sup> мистера Хоггинса) в откровенности, мы принялись описывать свои тайные страхи и те предосторожности, которые каждая из нас принимает. Я призналась, что всегда ужасно боюсь увидеть глаза — глаза, которые следят за мной, сверкая в какой-нибудь тусклой, гладкой, деревянной поверхности, и что, если в минуту паники я осмелюсь подойти к зеркалу, я обязательно поверну его обратной стороной, страшась

увидеть позади себя глаза, глядящие из мглы. Я заметила, что мисс Мэтти собирается с духом для исповеди, и вот она открыла нам свой секрет. С самого детства, ложась спать, она боялась, что кто-то, спрятавшийся под кроватью, схватит ее за ту ногу, которая еще стоит на полу. Когда она была моложе и подвижнее, сказала она, то обыкновенно прыгала в кровать с некоторого расстояния, чтобы обе ее ноги сразу оказались в безопасности, но ее прыжки раздражали Дебору, которая всегда отходила ко сну изящно, и ей пришлось отказаться от этой предосторожности. Но теперь ее все чаще вновь охватывает былой ужас, особенно после нападения на дом мисс Пул (мы все уже твердо уверовали, что на него действительно было совершено нападение), и тем не менее ей не хочется заглядывать под кровать — как неприятно было бы обнаружить, что там прячется мужчина, увидеть его свирепую злобную физиономию. А потому она кое-что придумала — может быть, я обратила внимание, что она попросила Марту купить ей за пенни детский мячик? Теперь она каждый вечер бросает этот мячик под кровать: если он свободно выкатывается с другой стороны, то можно ни о чем не думать, если же нет... она не забывает при этом держаться за сонетку, чтобы тут же громко позвать Джона или Гарри, словно ожидая, что на ее звонок явятся дюжие лакеи.

Мы все горячо одобрили эту хитроумную выдумку, и мисс Мэтти, погрузившись в умиротворенное молчание, бросила взгляд на миссис Форрестер, словно приглашая ее тоже рассказать о своей тайной слабости.

Миссис Форрестер покосилась на мисс Пул и попыталась слегка переменить тему: она сообщила нам, что взяла взаймы мальчика из соседнего домика, обещав его родителям мешок угля к рождеству и обязавшись каждый вечер кормить его ужином, если он будет ночевать у нее. Когда он явился в первый раз, она объяснила ему его обязанности и, убедившись, что он очень смышлен, вручила ему саблю майора (майор был ее покойным мужем) с тем чтобы на ночь он клал ее себе под подушку, повернув заточенную сторону лезвия к изголовью. По ее мнению мальчуган был необыкновенно сметлив: увидев треуголку майора, он объявил, что с ней на голове берется в любую минуту напугать двух англичан или четырех французов). Однако она вновь принялась втолковывать ему, что времени надевать треуголку или еще что-нибудь у него не будет: едва заслышав где-нибудь шум, он должен тотчас кидаться туда с саблей наголо. Когда я высказала предположение, что подобное кровожадное и категорическое распоряжение может стать причиной несчастного случая, например, Дженни пойдет умываться, а он бросится на нее и проткнет насквозь прежде, чем успеет разобраться, что перед ним вовсе не француз, миссис

Форрестер объяснила, что ничего подобного не ожидается, так как он спит необыкновенно крепко и по утрам его приходится долго трясти или обливать холодной водой, чтобы разбудить. Наверное, столь глубокий сон объясняется тем, что он ужинает очень плотно — бедняжка дома жил впроголодь, и она велела Дженни кормить его вечером получше.

Эта история, однако, не могла заменить признания в тайных страхах, и мы принялись уговаривать миссис Форрестер сказать нам, что, по ее мнению, могло бы внушить ей наибольший ужас. Она помолчала, помешала в камине, задула свечи, а затем произнесла звучным шепотом:

— Привидения!

И она посмотрела на мисс Пул, словно заявляя, что это так и что она от своих слов не отступит. Подобный взгляд сам по себе уже был вызовом. И мисс Пул обрушила на нее дурное пищеварение, игру воображения, обман зрения и еще немало доводов, почерпнутых у доктора Феррьеера и доктора Хибберта. Мисс Мэтти, как я упоминала раньше, питала некоторую веру в привидения, а потому то небольшое, что она сказала, поддерживало точку зрения миссис Форрестер, которая, ободренная таким сочувствием, заявила, что привидения — это часть ее религии и что уж ей-то, вдове майора, известно, чего следует бояться, а чего нет; короче говоря, я никогда ни раньше, ни потом не видела эту кроткую, уступчивую и терпеливую старушку такой разгоряченной.

Все бузинное вино в мире не могло бы в этот вечер смыть воспоминание о разногласиях между мисс Пул и хозяйкой дома. Более того, когда бузинное вино было подано, это послужило поводом для нового спора, ибо Дженни, маленькая служанка, пошатываясь под тяжестью подноса, сообщила, что она совсем недавно собственными глазами как-то вечером видела привидение на Темном проселке — на том самом проселке, по которому нам предстояло возвращаться домой.

Хотя эта последняя мысль пробудила в моей душе довольно неприятное чувство, я все же не могла не улыбнуться положению Дженни, напоминавшему положение свидетельницы, которую подвергают перекрестному допросу прокурор и адвокат, не стесняясь задавать наводящий вопросы. Сама я пришла к заключению, что Дженни, несомненно, видела нечто такое, чего нельзя было объяснить только несварением желудка. Дама в белом и без головы — вот что она показала на допросе и вот на чем продолжала настаивать, поддерживаемая сознанием, что хозяйка втайне ей сочувствует, с каким бы испепеляющим презрением ни смотрела на нее мисс Пул. И не только она, но и многие другие видели эту безголовую даму, которая сидела у придорожной канавы,



ломая руки; точно от горя. Миссис Форрестер время от времени бросала на нас торжествующие взгляды, но ведь ей-то не предстояло пройти по Темному проселку, прежде чем она могла бы спрятаться под своим одеялом.

Одеваясь, чтобы отправиться домой, мы благоразумно не заговаривали о безголовой даме — ведь нам не были известно, не находятся ли ее призрачная голова и уши где-то поблизости и не существует ли между ними и злополучным телом у Темного проселка какой-либо духовной связи. А потому даже мисс Пул чувствовала, что об этих материях не следует говорить легкомысленно, дабы не раздражить и не оскорбить это горюющее туловище. Во всяком случае, так мне показалось, ибо вместо то чтобы весело болтать, как водилось во время этой процедуры, мы завязывали ленты наших накидок с самым похоронным видом. Мисс Мэтти плотно задернула занавески на дверцах портшеза, чтобы не увидеть чего-либо неприятного, и носильщики (то ли воодушевленные близостью конца своих трудов, то ли потому, что дорога шла под гору) припустили так бодро и резво, что мы с мисс Пул еле поспевали за ними. Мисс Пул совсем запыхалась и была способна лишь умоляюще повторять «не покидайте меня!» и с такой силой цепляться за мой локоть, что я не покинула бы ее, явись перед нами хоть сто привидений. Какое это было облегчение, когда носильщики, устав от тяжести своей ноши и от собственной быстроты, остановились отдохнуть как раз там, где к Темному проселку подходит дамба Хедингли! Мисс Пул отпустила меня ухватила за одного из носильщиков.

— Не могли бы вы... не могли бы вы пойти дальше по дамбе? Темный проселок такой неровный, а мисс Мэтти от тряски делается дурно.

Из портшеза донесся приглушенный голос;

— Ах! Пожалуйста, идите дальше! Что случилось? Я прибавлю вам шесть пенсов, если вы пойдете побыстрее. Пожалуйста, не стойте тут!

— А я дам вам шиллинг, — с достоинством сказала мисс Пул дрожащим голосом, — если дальше вы пойдете по дамбе Хедингли.

Оба носильщика что-то буркнули в знак согласия, подхватили портшез и затрусили по дамбе, так что заботливое желание мисс Пул избавить мисс Мэтти от тряски исполнилось: дамбу покрывала мягкая глубокая грязь, а потому даже упасть там можно было бы без дурных последствий, хотя встать, наверное, оказалось бы далеко не так просто.

## ГЛАВА XI

### СЭМЮЭЛ БРАУН

На следующий день я повстречала леди Гленмайр и мисс Пул, которые вместе отправились на поиски старухи, славившейся в околоте редкостным умением вязать шерстяные носки. Мисс Пул сказала мне с добродушно-презрительной усмешкой:

— Я как раз рассказывала леди Гленмайр о нашей милой миссис Форрестер — о том, что она боится привидений. Причиной тут, разумеется, уединенная жизнь и глупые истории, которых она наслушалась от этой своей Дженни.

Мисс Пул, исполненная величавого спокойствия, сама была настолько выше глупых суеверных страхов, что, упомянув, как я обрадовалась, когда накануне вечером она уговорила носильщиков свернуть на дамбу Хедингли, я несколько устыдилась и перевела разговор на другую тему.

Под вечер мисс Пул явилась к мисс Мэтти, чтобы рассказать ей о приключений — настоящем приключении, которым ознаменовалась их утренняя прогулка. Они не знали, по какой тропинке им следует идти через луга, чтобы найти старую вязальщицу, и зашли навести справки в небольшой трактир на Лондонской дороге милях в трех от Крэнфорда. Хозяйка пригласила их присесть и отдохнуть, пока она сбегает за своим благоверным, который лучше нее сумеет указать им правильный путь, и вот, пока они сидели в зале; где пол был посыпан чистым песком, туда вошла маленькая девочка. Они подумали, что это хозяйская дочка, и заговорили с ней о каких-то пустяках, но затем вернулась миссис Робертс и объяснила, что девочка ей вовсе не родня, а просто пока живет у них вместе с отцом и матерью. Затем она принялась рассказывать очень длинную историю, из которой леди Гленмайр и мисс Пул почерпнули только два-три несомненных факта, а именно, что месяца полтора тому назад у самых их дверей опрокинулась рессорная тележка, в которой ехали двое мужчин, женщина и эта самая девочка. Один из мужчин сильно расшибся — правда, все кости у него остались целы, но его «оглушило», как выразилась хозяйка, и, возможно, он получил серьезные внутренние повреждения, потому что с тех самых пор он лежит больной у них в доме, а жена, мать этой самой девочки, ухаживает за ним. Мисс Пул осведомилась кто он такой и как он выглядит. И миссис Робертс ответила, что на

джентльмена он не похож, но и на простого человека тоже — если бы он и его жена не были таким приличными, тихими людьми, то она даже подумала бы что он ярмарочный скоморох или там бродячий актер так как на тележке у них стоял большой сундук, полный уж она не знает чего. Она помогла распаковать его чтобы достать их белье и одежду, перед тем как второй мужчина — кажется, брат-близнец первого — уехал в тележке неизвестно куда.

Тут мисс Пул кое-что заподозрила и высказала мнение что такое исчезновение сундука, лошади и тележки по меньшей мере странно, однако почтенную миссис Робертс намек мисс Пул, по-видимому, привел в большое негодование: мисс Пул сказала даже, что трактирщица рассердилась так, словно она в глаза назвала ее мошенницей. Миссис Робертс объявила, что дамы могут сами во всем убедиться, если соизволят поговорить с женой больного. И, как сказала мисс Пул, все их сомнения сразу исчезли при первом же взгляде на честное, измученное, загорелое лицо этой женщины, которая, едва леди Гленмайр ласково с ней заговорила, разразилась слезами, не в силах сдержаться, и перестала плакать, только когда трактирщица объяснила, зачем ее позвала, а тогда, подавив рыдания, засвидетельствовала истинно христианскую доброту мистера и миссис Робертс. Мисс Пул уверовала в ее печальную историю с жаром, равным ее прежнему скептицизму, и доказательством может служить тот факт, что ее сочувствие бедному страдальцу ничуть не стало меньше, когда она обнаружила, что он — не кто иной, как наш синьор Бруни, которому Крэнфорд последние полтора месяца приписывал всевозможные злодеяния! Да-да! Его жена сказала, что на самом-то деле он — Сэмюэл Браун («Сэм» — называла она его), но мы до конца продолжали величать его «синьором». Это было куда благозвучнее.

Их разговор с синьорой Бруни закончился тем, что было решено поручить ее мужа заботам врача; все расходы, связанные с этим, леди Гленмайр обещала взять на себя и сама отправилась к мистеру Хоггинсу попросить, чтобы он сегодня же съездил в «Восходящее солнце» и посмотрел синьора. А если его придется перевезти в Крэнфорд, поближе к мистеру Хоггинсу, сказала мисс Пул, она берется присмотреть для него подходящую квартиру и договориться о плате. Конечно, миссис Робертс с самого начала и до конца была очень добра, но, все-таки; их долгое пребывание у нее в доме причиняло ей некоторые неудобства.

Когда мисс Пул рассталась с нами, мы с мисс Мэтти были полны утренним происшествием не меньше, чем она сама. Весь вечер мы только о нем и говорили, всячески его обсуждали и легли спать, торопя наступление

утра, когда, несомненно, от кого-нибудь узнаем, что думает и советует мистер Хоггинс, ибо, как заметила мисс Мэтти, хотя мистер Хоггинс и употреблял выражения вроде «хожу с вальта» или «дуракам закон не писан», а преферанс называл «преф», но, по ее мнению, он тем не менее весьма достойный человек и очень искусный врач. Собственно, мы весьма гордились нашим крэнфордским доктором как доктором. И, услышав, что королеве Аделаиде или герцогу Веллингтону<sup>[62]</sup> нездоровится, мы часто жалели, что они не послали за мистером Хоггинсом; впрочем, по зрелом размышлении, мы скорее радовались этому обстоятельству, ибо, заболей мы сами, что мы делали бы, если бы мистер Хоггинс тем временем стал придворным врачом? Дамы гордились им как доктором, но как человек, а вернее, как джентльмен он заставлял нас скорбно покачивать головой и сожалеть о том, что ему не довелось прочесть «Писем» лорда Честерфилда<sup>[63]</sup> в те дни, когда его манеры еще поддавались улучшению. Однако его заключение о состоянии синьора мы считали непогрешимым, и когда он сказал, что заботливый уход должен поставить его на ноги, мы перестали опасаться за жизнь бедняги.

И тем не менее все наперебой старались помочь ему, словно имелись серьезные основания для тревоги — как оно, собственно говоря, и было, пока мистер Хоггинс не взялся его лечить. Мисс Пул присмотрела чистенькую и удобную квартирку, хотя, конечно, и очень скромную, мисс Мэтти послала за ним портшез, который мы с Мартой перед тем, как носильщики отправились за больным, хорошенько прогрели — мы поставили внутрь него жаровню, полную раскаленных углей, а потом плотно закрыли дверцу, закупорив дым и жар внутри до той минуты, когда синьор сядет в него в «Восходящем солнце». Леди Гленмайр под руководством мистера Хоггинса взяла на себя медицинскую часть и выискала в шкафчиках миссис Джеймисон все аптечные ложечки и мензурки, а также забрала все тумбочки с такой непринужденностью, что мисс Мэтти несколько встревожилась, представив себе: как могли бы посмотреть на это мистер Муллинер и его госпожа, зная они о происходящем. Миссис Форрестер изготвила свое прославленное хлебное желе, и оно ожидало его прибытия на квартире, чтобы ему было чем подкрепиться после дороги. Преподношение этого желе было у милой миссис Форрестер знаком наивысшего расположения. Мисс Пул однажды попросила у нее рецепт, но выслушала довольно резкую отповедь: миссис Форрестер сообщила ей, что при жизни не имеет права никому его давать, а после ее смерти, о чем сказано в ее завещании, он перейдет к мисс Мэтти.

А как мисс Мэтти (правда миссис Форрестер, вспомнив эту статью своего завещаний и торжественность случая, назвала ее «мисс Матильду Дженкинс») сочтет нужным распорядиться этим рецептом — сделает ли она его достоянием гласности или тоже завещает кому-нибудь, — она, миссис Форрестер, не знает и никаких условий ей не ставит. И это-то восхитительное, питательное, единственное в своем роде хлебное желе миссис Форрестер и прислала нашему бедному больному фокуснику. Кто говорит, будто аристократия высокомерна? Вот дама, урожденная Тиррел, [64] происходящая по прямой линии от великого сэра Уолтера, который застрелил короля Вильгельма Рыжего, дама, в чьих жилах струится кровь того, кто убил в Тауэре маленьких принцев, — и эта дама каждый день старалась приготовить что-нибудь повкуснее для Сэмуэла Брауна, бродячего фокусника! Но, говоря серьезно, было, очень приятно убедиться, сколько добрых чувств пробудило появление среди нас этого бедняги. И не менее приятным было то, что великая крэнфордская паника, вызванная его первым появлением в турецком наряде, сама собой исчезла без следа, едва мы увидели его снова — бледного, слабого, смотревшего по сторонам смутным взором, который немного прояснялся, только когда больной глядел на свою верную жену или на бледную, грустную дочурку.

Почему-то мы все вдруг перестали бояться. Наверное, убедившись, что тот, кто своим непревзойденным искусством пробудил в нас жажду чудес, а в будничной жизни не сумел справиться с понесшей лошадью, мы вновь как бы обрели самих себя. Мисс Пул приходила по вечерам со своей рабочей корзиночкой так спокойно, словно вокруг ее уединенного дома и на ведущих к нему пустынных дорогах никогда не рыскала «эта шайка убийц»; миссис Форрестер сказала, что, по ее мнению, ни Дженни, ни она сама не должны бояться безголовой дамы, которая плачет и стонет на Темном проселке, ибо подобным существам, конечно, не дано вредить тем, кто выходит из дома, чтобы делать добро, насколько это в их силах, с чем Дженни боязливо согласилась; однако теория хозяйки не оказала никакого воздействия на практику служанки, пока последняя не нашла на изнанку своей рубашки две полосы красной фланели так, что они образовали крест.

Я застала мисс Мэтти за тем, что она обматывала свой мячик — тот самый, который закатывала под кровать, — яркими шерстяными нитками всех цветов радуги.

— Милочка, — сказала она, — мне так жаль эту измученную заботами крошку. Хотя ее отец и фокусник, глядя на нее, можно подумать, что она ни разу в жизни не играла ни в одну веселую игру. Когда я была девочкой, я таким способом делала очень красивые мячики, и вот решила попробовать

сейчас — если он получится хорошим, я сегодня же отнесу его Фебе. Наверное, шайка отправилась в другие места — ведь ни о грабежах, ни о разбоях больше ничего не слышно.

Мы все были настолько поглощены опасным состоянием синьора, что забыли и о грабителях и о привидениях. Леди Гленмайр сказала даже, что, насколько ей известно, никаких грабежей и не было — только двое мальчуганов утащили несколько яблок из сада фермера Бенсона да вдова Хейуорд, торгуя на рынке, недосчиталась полудесятка яиц. Но это было уже слишком: не могли же мы признать, что нашу панику породили столь ничтожные причины. Не успела леди Гленмайр договорить, как мисс Пул негодуя выпрямилась и заявила, что хотя она с удовольствием согласилась бы с ней, что иных оснований для тревоги у них не было, однако, вспоминая мужчину, переодетого женщиной, который пытался ворваться к ней в дом, пока его сообщники поджидали снаружи, и зная от самой же леди Гленмайр о следах на клумбах миссис Джеймисон, и принимая во внимание тот факт, что мистер Хоггинс был дерзко ограблен на собственном крыльце... Но тут леди Гленмайр перебила ее, выразив глубокое убеждение, что вся эта история — не более чем фантазии, сплетенные вокруг куска мяса, украденного кошкой. Она очень покраснела, пока говорила это, и меня ничуть не удивила воинственная поза, которую приняла мисс Пул, — не будь леди Гленмайр «ее милостью», мы, конечно, услышали бы куда более решительные возражения, чем «как же, как же!» и другие столь же отрывочные восклицания, единственно допустимые в присутствии миледи. Однако едва леди Гленмайр удалилась, мисс Пул принялась поздравлять мисс Мэтти с тем, что им пока еще удалось избежать брачных уз, которые, как она заметила, делают людей чрезвычайно легковверными. Собственно говоря, если женщина не сумела избежать замужества, это уже неопровержимо свидетельствует о ее большом природном легковерии, и то, что леди Гленмайр сказала об ограблении мистера Хоггинса, показывает, до чего доходят люди, поддавшиеся подобной слабости. Совершенно очевидно, что леди Гленмайр поверит любым небылицам, если уж она проглотила эту жалкую выдумку о куске баранины и кошке, которой он пытался обмануть самое мисс Пул, но она-то всегда была начеку и не полагалась на слова мужчин.

Мы, как и желала того мисс Пул, возблагодарили судьбу за то, что не связали себя узами брака, но, мне кажется, больше мы были рады тому, что грабители покинули Крэнфорд. Во всяком случае, на эту мысль меня навела речь, которую произнесла в тот же вечер мисс Мэтти, когда мы сидели вечером у камина, и из которой следовало, что муж представляется

ей надежным защитником от воров, грабителей и привидений, — она сказала, что не позволила бы себе предостерегать юных девиц от брака, как это постоянно делает мисс Пул. Разумеется, брак всегда сопряжен с риском, как она убедилась теперь, приобретя некоторый жизненный опыт, но она помнит дни, когда мечтала выйти замуж ничуть не меньше всех других.

— Не за кого-то определенного, милочка, — поспешила она добавить, словно опасаясь, что сказала лишнее. — А просто как в известном присловье: девицы всегда говорят: «Когда я выйду замуж», а джентльмены говорят: «Если я женюсь».

Эта шутка была произнесена довольно печальным тоном, и ни я, ни она, мне кажется, не улыбнулись. Впрочем, слабые отблески огня совсем не освещали лица мисс Мэтти. Помолчав, она продолжала:

— Нет, я все-таки не сказала вам правды. Это было так давно, и никто не догадывался, сколько я об этом думала тогда — разве что мама. Но могу сказать, что было время, когда я не предполагала, что на всю жизнь останусь только мисс Мэтти Дженкинс; ведь даже если бы я сейчас встретила человека, который захотел бы на мне жениться (а, как говорит мисс Пул, никогда нельзя считать себя в безопасности), я не могла бы дать ему согласия — надеюсь, это не очень его огорчило бы, но я бы не могла дать согласия ни ему, ни кому-либо другому, кроме того человека, за которого я когда-то думала выйти замуж. А он умер и так и не узнал, почему я сказала «нет», хотя столько раз думала... Ну, не важно, что я думала. На все воля божья, и я очень счастлива, милочка. Ни у кого нет таких добрых друзей, как у меня, — добавила она, взяв мою руку в свои.

Если бы я не знала про мистера Холбрука, я, наверное, что-нибудь сказала бы, когда она умолкла, но теперь я не придумала ничего, что прозвучало бы естественно, а потому мы обе некоторое время хранили молчание.

— Когда-то отец, — начала она затем, — велел нам вести дневники, разграфленные пополам. На одной стороне мы должны были утром записывать, как, по-нашему, пройдет наступающий день, а вечером писали на другой стороне, как он прошел на самом деле. Некоторым людям было бы очень тягостно рассказывать о своей жизни таким способом (при этих словах на мою руку упала слеза)... Я не хочу сказать, что моя жизнь была печальной, но только она оказалась совсем не такой, как я ожидала. Помню, как-то в зимний вечер мы с Деборой сидели у огня в нашей спальне — я помню все так ясно, будто это было вчера, — и строили планы нашей будущей жизни, мы обе, хотя вслух о них говорила только она. Она сказала, что хотела бы выйти замуж за архидьякона и писать его пастырские

послания, а, как вы знаете, милочка, она не вышла замуж и, насколько мне известно, ни разу в жизни не встретила холостого архидьякона. Я никогда не была честолюбива да и пастырские послания писать я не сумела бы, но мне казалось, что я могла бы хорошо вести хозяйство (мама всегда называла меня своей правой рукой), и я всегда очень любила детишек — даже самые робкие малыши охотно тянули ко мне ручонки; в юности я половину свободного времени проводила у бедняков нашего прихода, нянча их младенцев. Но не знаю почему, когда я стала печально и серьезной — это случилось года через два, — малышки начали меня дичиться, и боюсь, я утратила этот мой дар хотя люблю детишек по-прежнему, и каждый раз, когда я вижу мать с ребенком на руках, у меня щемит сердце. И знаете, милочка (тут давно забытые угли в камин внезапно рассыпались, взметнулся язык пламени, и увидела, что ее глаза, устремленные на что-то невидимо и несбывшееся, полны слез), — мне иногда снится, что у меня есть ребенок, всегда один и тот же — маленькая девочка лет двух. Она не становится старше, хотя я вижу ее во сне уже много лет. По-моему, мне ни разу не снилось, чтобы она говорила или шумела. Она очень тихая и безмолвная, но она приходит ко мне, когда ей очень грустно или очень весело, и я просыпаюсь, чувствуя у себя на шее ее теплые ручонки. Вот и прошлой ночью — может быть потому, что я легла спать, думая о мячике для Фебы, моя деточка пришла ко мне во сне и подставила мне губки, как настоящие малышки подставляют их настоящим матерям перед тем, как идти спать. Но это все вздор, милочка! Только пусть слова мисс Пул, не отпугнут вас от брака. Мне кажется, это очень счастливое состояние, а немножко легковерия только облегчает жизнь — во всяком случае, это лучше, чем всегда сомневаться и видеть везде трудности и неприятности.

Если бы брачные узы и стали внушать мне опасение, то причиной тут была бы не мисс Пул, а участь бедного синьора Брунони и его жены. Однако всякие опасения забывались при виде того, как в заботах и горестях они думали не о себе, а друг о друге и какую радость получали они от общества друг друга или маленькой Фебы.

Синьора однажды рассказала мне довольно много об их прежней жизни. Все началось с того, что я спросила, действительно ли у ее мужа есть брат-близнец, как говорила мисс Пул. Такое сходство представлялось мне настолько чудесным, что я, конечно, усомнилась бы в словах мисс Пул, если бы она не была незамужней. Но синьора, или, вернее, миссис Браун (она предпочитала, чтобы ее называли так) сказала, что это истинная правда и что ее деверя часто принимали за ее мужа — весьма удобное обстоятельство для их профессии.



— Хотя, — продолжала она, — как можно принять Томаса за настоящего синьора Брунони, я, хоть убейте, не понимаю. Но он так говорит, а не верить ему я не могу. Человек-то он очень хороший: не знаю, как бы мы расплатились по счету в «Восходящем солнце», если бы не деньги, которые он нам посылает, и все-таки за моего мужа его могут принять только люди, которые ничего не смыслят в искусстве. Возьмите хоть фокус с шариками, мисс: там, где мой муж разгибает все пальцы, а мизинец красиво оттопыривает, Томас сжимает руку в кулак, и сразу кажется, что у него тут невесть сколько шариков. А кроме того, он ведь не бывал в Индии и не умеет носить тюрбан как полагается.

— Вы были в Индии? — спросила я с удивлением.

— А как же! Много лет, сударыня. Сэм был сержантом в Тридцать первом полку, и когда полк отправили в Индию, я вытащила жребий «ехать», и даже сказать вам не могу, до чего я обрадовалась: для меня ведь разлука с мужем была бы прямо как медленная смерть. Хотя, сударыня, знай я все наперед, может, я бы выбрала сразу умереть, чем переносить все, что мне пришлось перенести. Правда, я была с Сэмом и могла о нем заботиться, но ведь, сударыня, я шестерых детей потеряла! — И она посмотрела на меня тем странным взглядом, который я видела только у матерей, чьи дети умерли, безумным взглядом, точно что-то вечно ищущим и не находящим. — Да! Шестеро их у меня умерли в этой жестокой Индии, точно бутончики, которые сорвали безвременно. И каждый раз я думала, что не смогу больше, не захочу больше любить ребенка. А когда родился следующий, я любила его не только за него самого, но и за всех его мертвых братцев и сестричек. И когда я носила Фебу, я сказала мужу: «Сэм, когда ребенок родится и я окрепну, я от тебя уеду. Мне это сердце разобьет, но ведь, если и этот малютка умрет, я сойду с ума; я и сейчас уже как сумасшедшая. Но если ты отпустишь меня в Калькутту и я пронесу мое дитя всю дорогу шаг за шагом, то, может, это и пройдет. И я буду во всем себя урезывать, и буду копить, и буду просить милостыню, и, если нужно будет, — умру, лишь бы мне сесть на корабль и уехать домой в Англию, где наш ребенок останется жив». Да благословит его господь! Он сказал, что отпустит меня. И он начал откладывать из своего жалованья, а я откладывала каждый пенни, который получала за стирку или другую какую работу, а когда родилась Феба, я, только окрепла, сразу пустилась в путь. Одиноко мне было. Через густые леса, где под этими громадными деревьями всегда темно, по речному берегу (только я выросла в Уорикшире, возле самого Эйвона, и журчание воды было словно весточка из дому), от станции к станции, от одной индийской деревни к другой шла

я, неся своего ребенка. У супруги одного офицера нашего полка, сударыня, я видела маленькую такую картинку — какого-то иностранца-католика: пресвятая дева с маленьким Спасителем. Она его держит на руках, а сама так нежно вокруг него изгибается и прижимает щеку к его щеке. Ну, и когда я пошла проститься с этой дамой, — я у нее стирала, — она горько так заплакала. Она ведь тоже потеряла своих детей, и у нее не было малыша, чтобы спасти его, как я надумала спасти свою девочку. И я так осмелела, что попросила ее подарить мне эту картинку. А она заплакала еще сильнее и сказала, что ее дети сейчас с малюткой Иисусом. Она дала мне картинку и сказала, что слышала, будто художник написал ее на дне бочонка — оттого-то она и круглая. И вот, когда становилось мне совсем невмоготу идти, а сердце словно свинцом наливалось (ведь я то начинала бояться, что так и не доберусь до дома, а то вспоминала мужа, а один раз мне померещилось, будто моя маленькая вот-вот умрет), я доставала эту картинку и смотрела на нее, пока мне не начинало казаться, что пресвятая мать говорит со мной и меня утешает. И туземцы все были очень добры. Мы друг друга не понимали, но они видели, что я несу на руках ребенка, и подходили ко мне, давали мне рис и молоко, а иногда — цветы. Я немножко этих цветов засушила и всегда вожу их с собой. А один раз, когда утром я была совсем слаба, они хотели, чтобы я осталась у них подольше (это я поняла), и начали пугать меня, чтобы я не шла через лес, — а он и вправду казался очень дремучим и темным. Но мне чудилось, что смерть гонится за мной, чтобы отнять у меня мою девочку, и что я должна идти вперед, нигде не задерживаясь. И я вспомнила, что господь всегда заботился о матерях с самого сотворения мира, и подумала, что он позаботится и обо мне, а потому попрощалась с ними и ушла. А однажды моя крошка заболела, и мы с ней обе нуждались в отдыхе — и тогда господь привел меня к доброму англичанину, который жил совсем один среди туземцев.

— И в конце концов вы благополучно добрались до Калькутты?

— Да, благополучно. Когда я узнала, что идти остается всего два дня, то я ничего не могла с собой поделать, сударыня, — может, это было идолопоклонство, не мне судить, только я зашла с моей девочкой в туземный храм у дороги, чтобы возблагодарить бога за его великое милосердие. Я ведь подумала, что место, где другие люди в радости и печали молятся своему богу, наверное, должно быть свято. И я устроилась служанкой к больной даме, которая на корабле очень привязалась к моей малютке, а через два года Сэм отслужил свой срок и вернулся на родину, ко мне и к нашей девочке. Тут надо было решать, как он станет зарабатывать хлеб насущный, только никакого ремесла он не знал. Но в Индии он

научился разным фокусам у бродячего фокусника, ну и решил попробовать, а не получится ли у него что-нибудь тут. И дело пошло так хорошо, что он взял себе в помощь Томаса — но только помощником, а не вторым фокусником, хоть Томас сейчас и один устраивает представления. А то, что они близнецы и похожи друг на друга как две капли воды, очень нам было полезно, и они напридумывали много собственных штук. И Томас — очень хороший брат, только у него нет такой благородной осанки, как у моего мужа, а потому я не могу понять, как это публика принимает его за самого синьора Брунони, хоть он об этом и пишет.

— Бедняжка Феба! — сказала я, подумав о девочке, которую она несла на руках все эти сотни миль.

— Это вы правду сказали! Я уж думала, что мне ее не выходить, когда она заболела в Чандерабаддаде, но добрый ага Дженкинс взял нас к себе, и это ее, наверное, спасло.

— Дженкинс! — повторила я.

— Да, Дженкинс. Наверное, все, кто носит эту фамилию, добрые люди. Вот и эта пожилая дама, которая каждый день водит Фебу гулять...

Но я думала о другом: не пропавший ли Питер этот ага Дженкинс? Правда, многие утверждали, что он умер. Но, с другой стороны, многие слышали, что он в Тибете стал Великим ламой. Мисс Мэтти верила, что он жив. И я решила навести справки.

## ГЛАВА XII

### ПОМОЛВКА

Действительно ли чандерабаддадский ага Дженкинс — это крэнфордский «бедный Питер» или нет? Как выразился кто-то: вот в чем был вопрос.<sup>[65]</sup>

У меня дома мои родные, когда им больше нечего делать, принимают­ся бранить меня за несдержанность. Недостаток сдержанности — это мой особый порок. У каждого человека есть свой особый порок, неизменная черта характера — так сказать, *pièce de resistance*,<sup>[66]</sup> чтобы его друзьям было что кромсать, чем они с большим удовольствием и занимаются. Мне надоело постоянно слышать, что я опрометчива и несдержанна, а потому я решила хотя бы раз явить собой образец осмотрительности; и мудрости. Нет, я ни словом, ни намеком не выдам своих подозрений относительно аги. Я наведу справки и обо всем, что узнаю, расскажу только дома отцу, как старинному другу обеих мисс Дженкинс и всей их семьи.

Собирая факты, я постоянно вспоминала рассказ; моего отца о дамском благотворительном комитете, председателем которого ему довелось быть. Он говорил, что все время невольно вспоминал то место у Диккенса, в котором описывается, как веселое общество пело хором, причем каждый с наслаждением тянул свою любимую песню. Так и в этом комитете каждая дама произносила речь о том, что ее занимало больше всего, к величайшему своему удовлетворению, но без всякой пользы для предмета, обсудить который они собрались. Однако и этот комитет не шел ни в какое сравнение с крэнфордскими дамами, как я убедилась, попытавшись собрать у них сведения о росте бедного Питера, о его внешности, о том, когда и где его видели в последний раз и какие слухи о нем до них доходили. Например, я спросила мисс Пул (и мне казалось, что я выбрала для вопроса очень удачную минуту, так как задала его во время визита к миссис Форрестер — ведь они обе знавали Питера, и я думала, что вдвоем им будет легче припомнить многие подробности), я спросила мисс Пул, какие известия о нем были самыми последними, и вот тогда-то она и сообщила мне ту нелепость, о которой я уже упоминала — что его выбрали тибетским Великим ламой, после чего каждая из них заговорила о своем. Миссис Форрестер начала с закутанного в покрывало пророка в «Лалла-

Рук»<sup>[67]</sup> — не думаю ли я, что он должен был изображать Великого ламу, хотя Питер вовсе не был безобразен, а, напротив, даже почти красив, если бы не веснушки. Я было обрадовалась — ведь, сделав эту петлю, она все-таки вернулась к Питеру, но мгновение спустя милая старушка уже рассуждала о «Калидоре» Роленда и о достоинствах косметики и различных помад для волос вообще, причем с таким жаром, что я принялась слушать мисс Пул, которая через лам, как выючных животных, добралась до перуанских ценных бумаг и биржевых курсов, после чего сообщила свое самое низкое мнение об акционерных банках вообще и о том, в котором мисс Мэтти хранит свои деньги — в частности. Тщетно я перебила ее вопросом:

— А когда... в каком году вы слышали, что мистер Питер стал Великим ламой?

Это только вызвало у них спор, плотоядные ламы животные или нет, причем велся он не совсем на равных, так как миссис Форрестер призналась (после того как они успели погорячиться и вновь остыть), что она всегда путает плотоядных и травоядных — так же как «горизонтальный» и «перпендикулярный». Впрочем, она очень изящно извинилась, объяснив, что в ее время подобные слова применялись только для того, чтобы учить, как их грамотно писать.

Единственный факт, который я почерпнула из этого разговора, сводился к тому, что Питер, когда о нем слышали в последний раз, безусловно, жил в Индии «или где-то там поблизости» и что эти скудные сведения о его местопребывании достигли Крэнфорда в тот год, когда мисс Пул сшила себе платье из индийского муслина, уже давным-давно изношенное (мы стирали его, и штопали, и во всех подробностях проследили историю его упадка и гибели уже в виде оконной занавески, прежде чем смогли продвинуться дальше); это был тот год, когда в Крэнфорд приезжал зверинец Уомвелла — мисс Мэтти еще специально хотела посмотреть слона, чтобы лучше представлять себе, как Питер ездит на таком животном, а заодно увидела и боа-констриктора, которого ей вовсе не хотелось представлять себе, рисуя в воображении страну, где обитает Питер; да-да, тот самый год, когда мисс Дженкинс выучила наизусть какие-то стихи и на всех званных вечерах имела обыкновение упоминать, что Питер «озирает род людской от Китая и до Перу»,<sup>[68]</sup> и все находили это весьма возвышенным и отвечающим случаю — ведь Индия и правда лежит между Китаем и Перу, если только поворачивать глобус слева направо, а не справа налево.

Вероятно, мои расспросы и любопытство, которое они не замедлили пробудить у моих друзей, сделали нас слепыми и глухими к тому, что происходило вокруг. Мне казалось, что солнце всходило и сияло над Крэнфордом и дождь лил на него точно так же, как всегда, и я не заметила никаких знамений, которые могли бы предвещать необычайное событие. И насколько мне известно, не только мисс Мэтти и миссис Форрестер, но даже сама мисс Пул, которую мы считали почти пророчицей из-за свойственного ей дара провидеть то, что случалось, до того, как оно случалось (хотя она не любила тревожить своих друзей и никогда заранее им ничего не сообщала), — даже сама мисс Пул была вне себя от изумления, когда пришла поведать нам поразительную новость. Но мне необходимо взять себя в руки: еще и теперь, вспоминая эту новость, я от удивления забыла законы хорошего стиля, и если не сумею справиться со своими чувствами, то, пожалуй, забуду и правила грамматики.

Мы сидели — мисс Мэтти и я, — как обычно: она спиной к свету с вязаньем в покойном кресле, покрытом голубым ситцевым чехлом, а я с «Сентджеймской хроникой», которую читала ей вслух. Через несколько минут мы отправились бы вносить те небольшие изменения в наш туалет, которые принято делать в Крэнфорде перед приемными часами (они там начинаются с двенадцати). Я отлично помню и эту сцену, и этот день. Мы разговаривали о том, как быстро пошло выздоровление синьора после наступления теплой погоды, хвалили искусство мистера Хоггинса и скорбели об отсутствии у него утонченности и хороших манер (в том, что мы обсуждали именно это, можно усмотреть странное совпадение, но тем не менее так оно и было), когда вдруг услышали стук — стук визитера, три четких удара, — и опрометью бросились (впрочем, это более фигура речи: у мисс Мэтти разыгрался ревматизм и быстро ходить она не могла) к себе в спальни, чтобы переменить чепцы и воротнички, но тут нас остановил голос мисс Пул, которая поднималась по лестнице, крича:

— Не уходите! Я не могу ждать! Я знаю, что еще нет двенадцати... но оставайтесь, в чем вы есть... Мне надо с вами поговорить!

Мы постарались сделать вид, будто это вовсе не мы вскочили так поспешно, что она услышала это снизу; ведь, само собой разумеется, нам вовсе не хотелось, чтобы люди думали, что мы храним старую одежду, дабы донашивать ее в «священном домашнем приюте», как мисс Дженкинс однажды изящно назвала заднюю комнату, где завязывала банки с вареньем. А потому мы удвоили утонченность наших манер и были весьма утонченны в течение тех двух минут, пока мисс Пул переводила дух и разжигала наше любопытство, воздевая руки горе в изумлении и опускавая

их долу в молчании, точно слова оказывались слишком слабы и выразить подобную новость можно было только пантомимой.

— Нет, вы только подумайте, мисс Мэтти! Вы только подумайте! Леди Гленмайр женится... то есть выходит замуж, хотела я сказать... Леди Гленмайр... Мистер Хоггинс... Мистер Хоггинс и леди Гленмайр женятся!

— Женятся! — сказали мы. — Женятся! Какое безумие!

— Женятся, — сказала мисс Пул со свойственной ей решительностью. — Я, как и вы, сказала: женятся! И еще я сказала: в какое дурацкое положение ставит себя ее милость! Я бы могла сказать и «какое безумие!», но удержалась, ибо услышала об этом в лавке, где было полно народа. Ума не приложу, что случилось с женской деликатностью чувств! Нам с вами, мисс Мэтти, было бы стыдно, если бы о нашем браке разговаривали в бакалейной лавке и приказчики все слышали бы!

— Но, — заметила мисс Мэтти со вздохом, точно оправляясь от тяжкого удара, — может быть, это неправда. Может быть, мы несправедливы к ней.

— Нет! — объявила мисс Пул. — Я взяла на себя труд удостовериться. Я пошла прямо к миссис Фиц-Адам попросить у нее поваренную книгу (я знала, что у нее она есть), и принесла ей свои поздравления а propos<sup>[69]</sup> тех затруднений, которые, несомненно, испытывают холостые джентльмены с домашним хозяйством, а миссис Фиц-Адам выпрямилась и сказала, что это, насколько ей известно, действительно так, хотя каким образом и где я могла об этом узнать, она не понимает. Она сказала, что у ее брата и леди Гленмайр дело совсем слажено. «Дело слажено»! Какое вульгарное выражение! Но ее милости придется снизойти еще и не к такому недостатку утонченности. У меня есть основания полагать, что мистер Хоггинс ежевечерне ужинает хлебом, сыром и пивом!

— Женятся, — еще раз повторила мисс Мэтти. — Мне и в голову не приходило... Двое наших знакомых женятся. Это уж совсем близко.

— Настолько близко, что у меня сердце замерло, когда я об этом услышала, и вы успели бы сосчитать до двенадцати, прежде чем оно снова забилося, — сказала мисс Пул.

— И чей только черед теперь настанет! Здесь в Крэнфорде бедная леди Гленмайр могла, казалось бы, считать себя в безопасности, — заметила мисс Мэтти с кроткой жалостью в голосе.

— Гм! — воскликнула мисс Пул, вздернув голову. — Вы ведь, наверное, помните песенку бедного милого капитана Брауна «Тибби Фаулер» и строчки: «Хоть на гору заберется, жениха примчит ей ветер»?

— Но, мне кажется, все дело тут в том, что Тибби Фаулер была богата.

— А в леди Гленмайр есть привлекательность, которую я, например, постыдилась бы иметь.

Тут я заговорила о том, что меня поразило больше всего:

— Но каким образом мог ей понравиться мистер Хоггинс? Что она ему понравилась, это меня не удивляет!

— Ну, не знаю. Мистер Хоггинс богат и недурен собой, — сказала мисс Мэтти. — К тому же характер у него хороший, а сердце доброе.

— Она выходят замуж ради прочного положения, вот в чем дело. А сумку с врачебными инструментами, я полагаю, берет в придачу, — объявила мисс Пул, сухо усмехнувшись собственной шутке. Однако, подобно большинству людей, которые думают, что произнесли суровую и саркастическую речь, исполненную к тому же тонкого остроумия, она начала несколько отходить: после этого упоминания о сумке с врачебными инструментами ее мрачность заметно пошла на убыль, и мы принялись строить предположения о том, как примет эту новость миссис Джеймисон. Особа, которой она поручила свой дом, дабы было кому отпугивать дружков от служанок, обзавелась собственным дружком! И дружок этот был тот самый человек, которого миссис Джеймисон объявила вульгарным и неприемлемым для крэнфордского света — причем не только из-за его фамилии, но и из-за его голоса, его красного лица, его сапог, пахнущих конюшней, и собственной его персоны, пахнущей лекарствами. Навещал ли он леди Гленмайр в доме миссис Джеймисон? Если да, то никакая хлорная известь не очистит этот дом в глазах его владелицы. Или же все их свидания ограничивались случайными встречами в комнате бедного больного фокусника, к которому оба они были чрезвычайно добры, чего мы не могли не признать, как ни возмущал нас этот мезальянс? И тут выяснилось, что одна из горничных миссис Джеймисон последнее время хворала и мистер Хоггинс несколько недель лечил ее. Итак, волк забрался в овчарню и теперь готовился утащить пастушку. Что скажет миссис Джеймисон? Мы вглядывались во мрак будущего, точно ребенок, который провожает взглядом фейерверочную ракету в облачном небе, предвкушая оглушительный треск и ослепительный ливень сверкающих искр. Затем мы спустились с небес на землю и к настоящему времени, принявшись расспрашивать друг друга (хотя ровно ничего не знали и не располагали ни единым фактом, чтобы строить на нем заключения) о том, когда ЭТО свершится. И где? Каков годовой доход мистера Хоггинса? Перестанет ли она употреблять свой титул? И удастся ли заставить Марту и других респектабельных служанок Крэнфорда докладывать о супружеской паре «леди Гленмайр и мистер Хоггинс»? Но будут ли им делать визиты? Даст



ли нам миссис Джеймисон свое на то позволение? Или нам придется выбирать между высокородной миссис Джеймисон и павшей леди Гленмайр? Леди Гленмайр нравилась всем нам гораздо больше. Она была весела, добра, общительна и любезна, а миссис Джеймисон была тупа, бездеятельна, спесива и скучна. Но мы признавали верховную власть миссис Джеймисон уже столько лет, что теперь даже мысленное нарушение запрета, наложение которого мы только предвидели, представлялось нам изменой.

Миссис Форрестер застигла нас в заштопанных чепцах и заплатанных воротничках, но мы даже не вспомнили о них, до того нам не терпелось посмотреть, как она примет новость, сообщение которой мы благородно предоставили мисс Пул, хотя могли бы опередить ее, пожелай мы воспользоваться нечестным преимуществом; у нее, едва миссис Форрестер вошла в комнату, случился крайне несвоевременный припадок кашля, длившийся не менее пяти минут. Я никогда не забуду молящего выражения ее глаз, когда она смотрела на нас, прижимая к лицу носовой платок. Взгляд ее яснее всяких слов говорил: «Не допустите, чтобы природа лишила меня сокровища, которое по праву принадлежит мне, хотя я не могу воспользоваться им сию минуту». И мы не допустили.

Удивление миссис Форрестер не уступало нашему, а оскорблена она была куда сильнее, ибо это затрагивало ее сословие, и она гораздо яснее нас видела, какое пятно кладет подобное поведение на всю аристократию.

Когда они с мисс Пул ушли, мы попытались успокоить наши смятенные души, но эта новость слишком глубоко взволновала мисс Мэтти. Она прикинула, и оказалось, что в последний раз кто-то из ее знакомых — если не считать мисс Джесси Браун — сочетался браком болеет пятнадцати лет назад, и, как она сказала, это совсем ее ошеломило, и теперь она просто не представляет себе, что еще может случиться.

Не знаю, только ли это мое воображение, или и правда после объявления о помолвке в любом кругу общества его незамужняя часть начинает щеголять необычной веселостью и новизной туалетов, точно безмолвно и бессознательно объявляя: «Мы тоже девицы!» И в течение двух недель после этого, достопамятного визита мисс Пул они с мисс Мэтти говорили и думали о шляпках, платьях, чепцах и шaliaх гораздо больше, чем за последние несколько лет, вместе взятых. Впрочем, причиной могла быть весенняя погода — март выдался на редкость: теплый, и в сверкающих лучах ясного солнца меха и всяческие шерстяные ткани казались не слишком уместными. Сердце мистера Хоггинса было покорено отнюдь не нарядами леди Гленмайр: она по-прежнему навещала

бедняков и больных все в тех же скромных, поношенных платьях. Я видела ее только мельком — в церкви или на улице, потому что она как будто избегала встреч со знакомыми, но я заметила, что лицо ее, казалось, помолодело, губы стали как будто более алыми и больше не сжимались в узкую полоску, а глаза смотрели на все так светло и нежно, словно она проникалась любовью к Крэнфорду и ко всему в нем. Мистер Хоггинс сиял; расправив плечи, он шагал по среднему проходу церкви в скрипящих новых сапогах, которые заявляли о грядущей перемене в его положении не только взгляду, но и слуху. Ведь легенда гласила, что до этой поры он расхаживал в тех же самых сапогах, в каких впервые начал объезжать своих больных двадцать пять лет назад, только они чинились сверху и снизу: у них менялись и головки, и подошвы, и каблуки, да и самая кожа становилась то черной, то коричневой, никто уже не помнил, сколько раз.

Ни одна из крэнфордских дам не пожелала санкционировать этот брак, поздравив невесту или жениха. Мы предпочитали игнорировать эту историю до возвращения нашей повелительницы миссис Джеймисон. Пока же она не вернулась и не показала, как нам следует держаться, эта помолвка оставалась для нас чем-то вроде ног испанской королевы<sup>[70]</sup> — фактом несомненным, но упоминанию не подлежащим. Узда, наложенная на наши языки (видите ли, если мы не говорили об этом с заинтересованными сторонами, то как же мы могли получить ответы на мучившие нас вопросы?), начинала становиться невыносимой, и любопытство уже сильно подточило наши понятия о достоинстве молчания, но тут наши мысли внезапно были отвлечены — крупнейший лавочник Крэнфорда, который торговал и бакалейными товарами, и сыром, и модными материями, и шляпками, объявил, что им получены образчики весенних мод, каковые и будут выставлены в следующий вторник в его заведении на Хай-стрит. А мисс Мэтти только этого и дожидалась, чтобы сшить себе новое шелковое платье. Правда, я предлагала выписать выкройку из Драмбла, но она отказалась, мягко дав мне понять, что еще не забыла, как была разбита ее мечта о тюрбане цвета морской волны. Я была рада, что нахожусь на месте, дабы противодействовать властным чарам оранжевых и пунцовых — шелков.

Тут мне следует сказать несколько слов о себе самой. Я уже упоминала о давней дружбе моего отца с семейством Дженкинс — возможно даже, что мы находились с ними в каком-то дальнем родстве. А потому он охотно разрешил мне провести в Крэнфорде всю зиму после того, как мисс Мэтти в дни паники послала ему письмо, в котором, я подозреваю, сильно преувеличила мои способности и мужество как защитницы дома. Но

теперь, когда дни стали длиннее и веселее, он начал настаивать на моем возвращении, и я медлила только из-за довольно зыбкой надежды получить более определенные сведения, которые позволили бы мне согласовать описание аги Дженкинса, полученное от синьоры, с тем, что я сумела почерпнуть из разговора с мисс Пул и миссис Форрестер о внешности: «бедного Питера» до его исчезновения.

## ГЛАВА XIII

# ПРЕКРАЩЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ

Утром в тот самый вторник, когда мистер Джонсон намеревался выставить весенние моды, почтальонша принесла нам два письма. Собственно, мне следовало бы сказать не «почтальонша», а «жена почтальона». Почтальоном был хромой башмачник, очень чистоплотный, честный человек, пользовавшийся в городе большим уважением, но сам он разносил почту только по большим праздникам вроде рождества или пасхи, и уж в эти дни письма, которые полагалось бы доставить в восемь утра, появлялись у адресата не раньше двух-трех часов дня, так как, бедняга Томас пользовался всеобщей симпатией и ему всюду оказывали радушный прием. Он имел обыкновение повторять, что «сыт по горло — ведь есть три-четыре, такие дома, где хочешь не хочешь, а усадят тебя завтракать», а к тому времени, когда он доедал свой последний завтрак и являлся в следующий дом, там уже садились обедать. Но какие бы искушения ни вставали на его пути, Том всегда бывал трезв, вежлив и весел, прочее же, как говаривала мисс Дженкинс, преподавало всем нам урок терпения, который, но ее твердому убеждению, не мог не пробудить это бесценное качество в некоторых душах, где, если бы не Томас, оно так и осталось бы подспудным и никому не ведомым. В душе мисс Дженкинс терпение, безусловно, было весьма подспудным качеством. Она постоянно ждала писем и постоянно барабанила пальцами по столу до тех пор, пока почтальонша либо не стучала в дверь, либо не проходила мимо. На рождество и на пасху она барабанила по столу от завтрака до ухода в церковь и после возвращения из церкви до двух часов — за исключением тех случаев, когда требовалось помешать в камине, а тогда она обязательно опрокидывала решетку и бранила за это мисс Мэтти. Но Томаса с такой же неизменностью ждал самый ласковый прием и отличный обед; мисс Дженкинс стояла над ним, как доблестный драгун, и задавала ему вопросы о его детях — что они поделявают, в какую школу ходят — или же распекала его, если на свет обещал появиться еще один отпрыск, а затем вручала ему по шиллингу и по мясному пирожку даже для грудных младенцев (ее обычный подарок всем детям) с добавлением полукроны для отца и матери. Милую мисс Мэтти письма интересовали куда меньше, но она ни за что на свете не согласилась бы принять Томаса не столь радушно

или уменьшить положенные ему дары, хотя я замечала, что ее несколько стесняет церемония, которая для мисс Дженкинс служила великолепным поводом давать советы ближним и благодетельствовать их. Мисс Мэтти украдкой всовывала ему в руку все деньги сразу, точно стыдясь. Мисс Дженкинс же вручала ему каждую монету отдельно, указывая: «Это для вас, это для Дженни» и т. д. Мисс Мэтти даже незаметно высылала Марту из кухни, пока он ел, а однажды, насколько мне известно, посмотрела сквозь пальцы на то, что кушанье мгновенно исчезло в его синем платке. Мисс Дженкинс же обязательно выговаривала ему, если он не выскребал тарелку дочиста, сколько бы на нее ли было наложено, и сопровождала каждый его глоток тем или иным наставлением.

Я довольно далеко отклонилась от тех двух писем, которые утром в этот вторник ожидали нас на столе вместе с завтраком. Мое письмо было от отца, а письмо мисс Мэтти — печатный циркуляр. Письмо отца было обычным мужским, то есть очень скучным, и содержащиеся в нем сведения исчерпывались тем, что он здоров, погода держится дождливая, в торговле застой и ходят всякие неприятные слухи. Затем он спрашивал, не знаю ли я, сохранила ли мисс Мэтти свои акции Городского и сельского банка, так как поговаривают, что дела этого банка очень плохи; впрочем, он это всегда предвидел и предупреждал мисс Дженкинс много лет назад, когда она решила вложить все их маленькое состояние в этот банк — единственный неразумный поступок этой умнейшей женщины, который ему известен (единственный раз, когда она поступила наперекор его советам, как я отлично знала). Но если что-то действительно произойдет, я ни в коем случае не должна покидать мисс Мэтти, пока могу быть ей полезна, и т. д.

— От кого ваше письмо, милочка? А я получила очень любезное приглашение, подписанное «Эдвин Уилсон» — меня просят присутствовать на весьма важном собрании акционеров Городского и сельского банка, которое состоится в Драмбле в четверг двадцать первого. Как учтиво с их стороны вспомнить про меня!

Мне не понравилось это «весьма важное собрание», так как я, хотя и не имела почти никакого представления о делах, почувствовала сильное опасение, что это подтверждает слова моего отца. Однако, подумала я, дурные вести приходят быстро, а потому я решила не упоминать о моих тревогах и сказала мисс Мэтти только, что мой отец здоров и шлет ей поклон. Она все еще держала свое письмо и с удовольствием его перечитывала. Затем она сказала:

— Я помню, они прислали Деборе точно такое же приглашение, но это

было не удивительно: всем же было известно, как она умна. А я, боюсь, не смогу им помочь. Особенно если речь пойдет о каких-нибудь счетах — я ведь не умею складывать и вычитать в уме. Деборе, я знаю, очень хотелось поехать, и она даже заказала новую шляпку, но в назначенный день она сильно простудилась, а потому они прислали ей очень вежливый отчет о том, что было сделано. Кажется, выбрали директора. Как по-вашему, они хотят, чтобы я помогла выбрать директора? Конечно, я сразу назову вашего батюшку.

— У него нет акций этого банка, — сказала я.

— Да-да, я вспоминаю. Он, по-моему, был очень против, когда Дебора их купила. Но она была настоящей деловой женщиной и всегда решала сама за себя. И как видите, все эти годы они платили по восемь процентов.

Из-за намека в письме моего отца эта тема была мне очень неприятна, и, решив переменить разговор, я спросила, когда, по ее мнению, нам будет лучше всего пойти посмотреть модные образчики.

— Видите ли, милочка, — сказала она, — с одной стороны, посещать подобные выставки раньше двенадцати не принято, но с другой стороны, тогда там соберется весь Крэнфорд, а на глазах у всего света как-то неприятно слишком интересоваться платьями, отделкой и чепцами! Излишнее любопытство в таких случаях — это дурной тон. Дебора всегда умела выглядеть так, словно самые последние моды ей уже давно известны. Она переняла эту манеру у леди Арли, которая и в самом деле знакомилась с новыми модами раньше, в Лондоне. А потому я думаю, что мы могли бы заглянуть туда сразу после завтрака, — мне и правда нужно купить полфунта чаю, — и не торопясь все разглядеть, чтобы точно себе представить, каким должно быть мое новое шелковое платье. А потом, после двенадцати, мы пойдем спокойно, уже не думая о туалетах.

Мы принялись обсуждать новое шелковое платье мисс Мэтти, и я обнаружила, что ей впервые в жизни предстоит самой выбрать для себя что-то существенное, а не мелочь — ведь мисс Дженкинс, каков бы ни был ее вкус, обладала несравненно большей решительностью, и просто поразительно, как подобные люди подчиняют себе все и вся, опираясь только на силу воли. Мисс Мэтти с таким восторгом предвкушала, как будет обозревать блестящие шелка, словно на пять соверенов, отложенных для покупки, можно было купить все материи в лавке, и (вспомнив, как я сама провела в игрушечной лавке добрых два часа, прежде чем смогла указать, на какое чудо следует истратить серебряный трехпенсовик) я обрадовалась тому, что мы придем туда пораньше и у нее будет достаточно времени для блаженных колебаний.

Если там по счастливой случайности окажется шелк цвета морской волны, то из него и будет сшито платье, если же нет, то мисс Мэтти думала остановить свой выбор на светло-оранжевом, а я полагала, что серебристо-серый будет ей больше к лицу, и мы прикидывали, сколько ярдов шелка потребуется, пока не дошли до дверей лавки. Нам предстояло купить чай, выбрать шелк, а затем подняться по железной винтовой лестнице на бывший чердак, служивший теперь залой для выставки мод.

Молодые приказчики мистера Джонсона щеголяли в этот день лучшими своими улыбками и лучшими своими галстуками и выбежали к нам из-за прилавка с поразительной быстротой. Они хотели тут же проводить нас наверх, но, памятуя, что прежде дело, а удовольствие потом, мы остались внизу купить чай. И тут оказалось, что мисс Мэтти пребывает в большом рассеянии чувств. Если она узнавала, что выпила зеленого чаю, то считала своим долгом не спать после этого полночи (когда она не знала, что пьет именно зеленый чай, то дело обходилось без подобных последствий, чему я не раз бывала свидетельницей), а потому зеленый чай в дом не допускался, и все же теперь она сама спросила это ядовитое зелье, полагая, что говорит о шелке. Впрочем, ошибка была тут же исправлена, и приказчики принялись развертывать перед нами шелка. К этому времени лавка наполнилась народом, так как день был рыночный и Крэнфорд из окрестностей съехалось немало фермеров и их работников. Они заходили в лавку, пригладив волосы, и робко посматривали по сторонам: им и хотелось поподробнее рассказать дома хозяйке и девочкам про выставку товаров, и в то же время они стеснялись щеголеватых приказчиков и чувствовали себя не на месте среди пестрых шалей и летних материй. Однако один фермер с честным и добрым лицом все-таки подошел к прилавку около которого стояли мы, и смело попросил показать ему шаль-другую. Остальные деревенские жители довольствовались бакалейным прилавком, но наш сосед, по-видимому, забыл про робость, так ему хотелось сделать приятный сюрприз жене или дочери, и вскоре я уже прикидывала, кто дольше будет держать около себя приказчика — он или мисс Мэтти. Фермеру каждая новая шаль казалась красивее предыдущей, а мисс Мэтти улыбалась и вздыхала над каждой новой штукой шелка, которую перед ней развертывали — каждый новый цвет выгодно оттенял другой, а рядом со всей этой грудой, как она выразилась, и радуга показалась бы бледной.

— Боюсь, — нерешительно сказала она, — выбрав что-то, я буду жалеть, почему не выбрала что-то другое. Посмотрите, какой прелестный пунцовый цвет. Зимой он будет выглядеть таким теплым! Но ведь наступает весна. Как мне хотелось бы иметь по шелковому платью на

каждое время года, — добавила она, понижая голос, как делали в Крэнфорде все мы, когда говорили о том, что хотели бы, но не могли себе позволить. — Впрочем, — продолжила мисс Мэтти более громким и веселым голосом, — сколько у меня было бы с ними хлопот! А потому, пожалуй, я выберу шелк только на одно платье. Но какой же мне взять, милочка?

И она наклонилась над сиреневым шелком в желтый горошек, а я пододвинула к ней штуку спокойного желтовато-зеленого цвета, который несколько терялся среди этой яркой пестроты, зато сам шелк был очень добротный. Но тут наше внимание отвлек наш сосед. Он, наконец выбрал шаль ценой шиллингов в тридцать, и его ли так и сияло: несомненно, он предвкушал, как обрадуется этому подарку его Молли или Дженни. Вытащив из кармана панталон кожаный кошелек, он протянул приказчику пятифунтовый банковский билет в уплату за шаль и за несколько свертков, которые ему принесли от бакалейного прилавка, — и вот тут-то мы к нему и повернулись. Приказчик разглядывал банкноту с некоторой растерянностью.

— Городской и сельский банк! Я не уверен, сэр, но как будто мы сегодня утром получили предупреждение не брать билетов этого банка. Я сейчас справлюсь у мистера Джонсона, сэр, но боюсь, мне придется просить, чтобы вы уплатили наличными или банкнотами какого-нибудь другого банка.

Мне еще никогда не приходилось видеть, чтобы лицо человека столь внезапно становилось воплощением такого отчаяния. У меня просто сердце сжалось от жалости.

— Ах ты!.. — воскликнул он, стукнув кулаком по прилавку, точно хотел проверить, что тверже. — Что же, по-вашему, золото и банкноты на земле валяются — нагнись да подбирай?

Мисс Мэтти так заинтересовалась происходящим, что забыла про свое шелковое платье. По-моему, она не расслышала названия банка, а я по чистой трусости не хотела, чтобы она поняла, о чем идет речь, и потому принялась восхищаться сиреневым шелком в желтый горошек, хотя минуту назад безоговорочно его отвергала. Но все оказалось бесполезным.

— Какой это банк? То есть я хочу спросить, какой банк выпустил вашу банкноту?

— Городской и сельский банк.

— Покажите мне ее, — сказала она негромко приказчику, беря у него банкноту, которую он принес назад фермеру.

Мистер Джонсон очень сожалел, но, по его сведениям, билеты этого



банка стоили теперь не дорожке бумаги, на которой были напечатаны.

— Я не понимаю, — прошептала мне мисс Мэтти. — Это же наш банк — Городской и сельский банк.

— Да, — ответила я. — Этот сиреневый цвет очень подойдет к лентам вашего нового чепца, — добавила я, расправляя материю так, чтобы на нее упал свет, от души желая, чтобы фермер поскорее ушел, и уже раздумывая над тем, благоразумно ли и правильно ли с моей стороны допустить, чтобы мисс Мэтти сделала такую дорогую покупку, если дела банка и правда столь плохи, что лавочники отказываются брать его банкноты.

Однако мисс Мэтти приняла ту свою мягкую, исполненную достоинства манеру держаться, которую пускала в ход очень редко, хотя она ей удивительно шла, и, ласково положив ладонь на мою руку, сказала:

— Пока оставим шелка, милочка. Я не поняла вас, сэр, — продолжала она, обращаясь к приказчику, который занимался фермером. — Это фальшивая банкнота?

— Нет-нет, сударыня. Она настоящая, но видите ли, сударыня, это акционерный банк, и ходят слухи, что он вот-вот лопнет. Мистер Джонсон только исполняет свой долг, как мистер Добсон, конечно, понимает.

Но мистер Добсон не ответил улыбкой на вопросительный полупоклон. Он продолжал рассеянно вертеть банкноту в пальцах, угрюмо уставившись на сверток с только что купленной шалью.

— Нелегко это бедному человеку, — сказал он, — который должен каждый фартинг зарабатывать в поте лица своего, но что поделаешь! Забирайте свою шаль обратно, любезный. Придется Лиззи и дальше обходиться старой накидкой. Вон те финики для ребятишек, я их им пообещал, ну, так их я возьму. А вот табак и прочее...

— Я дам вам пять соверенов за вашу банкноту, — сказала мисс Мэтти. — Произошла какая-то ошибка, потому что я — акционер этого банка, и, конечно, мне сообщили бы, если бы что-нибудь случилось.

Приказчик шепнул что-то мисс Мэтти через прилавок. Она поглядела на него с сомнением.

— Возможно, — ответила она. — Но я ничего не понимаю в делах. И знаю только, что если он лопнет и если честные люди потеряют свои деньги, потому что брали наши банкноты... Я не знаю, как это сказать. — Она смутилась, внезапно заметив, что начала длинную речь перед четырьмя слушателями. — Но только я хотела бы обменять мои золотые монеты на эту банкноту, если вы согласны (она повернулась к фермеру). И вы сможете отвезти вашей жене эту шаль. Ведь мне просто придется отложить покупку шелка на несколько дней, — объяснила она мне. А тогда

все, конечно, выяснится.

— А если выяснится что-то плохое? — спросила я.

— Что же, в таком случае простая честность требует, чтобы я, как акционер, вернула этому доброму человеку его деньги. Мне все это совершенно ясно, но вы знаете, что я не умею говорить так понятно, как другие. Только, мистер Добсон, вы должны отдать мне вашу банкноту и купить то, что собирались, на эти соверены.

Фермер посмотрел на мисс Мэтти с безмолвной благодарностью, стесняясь и не умея выразить ее словами, но продолжал вертеть банкноту в пальцах.

— Не хотелось бы мне, чтобы другие несли убытки вместо меня, если она и вправду ничего не стоит. Да только пять фунтов — немалые деньги для семейного человека. И к тому же, как вы говорите, десять против одного, что через день-другой эта бумажка снова будет не хуже золота.

— На это не надейтесь, почтенный, — вставил приказчик.

— Тем больше оснований, чтобы ее взяла я, — спокойно сказала мисс Мэтти, пододвигая свои соверены к фермеру, который неохотно протянул ей в обмен банкноту. — Благодарю вас. Я отложу покупку шелка дня на два. Возможно, тогда у вас и выбор будет больше. Милочка, не пойти ли нам наверх?

Мы рассматривали модные образчики с таким же любопытством и так же подробно, словно шелк на новое платье был уже куплен. Насколько я могла заметить, происшествие внизу несколько не уменьшило интереса мисс Мэтти к фасону рукавов и покрою юбок. Раза два она выражала удовольствие, что мы имеем возможность разглядывать шляпки и шали не торопясь, наедине друг с другом. Однако я с самого начала испытывала по этому поводу некоторые сомнения, так как время от времени краешком глаза замечала, что за накидками и мантильями прячется какая-то фигура, и в конце концов с помощью ловкого маневра внезапно столкнулась лицом к лицу с мисс Пул, также одетой в утренний костюм (главная особенность которого заключалась в том, что она вышла из дома без зубов, но в вуали, чтобы скрыть их отсутствие). Она явилась в лавку с той же целью, что и мы, но теперь быстро распрощалась с нами — как она объяснила, у нее невыносимо болела голова и ей трудно было разговаривать.

Когда мы спустились в лавку, оказалось, что там нас поджидает добросердечный мистер Джонсон. Ему сообщили об обмене золотых монет на банкноту, и из самых лучших чувств он с большой любезностью и некоторым отсутствием такта поторопился выразить мисс Мэтти свои соболезнования и растолковать ей истинное, положение вещей. Я могла

только надеяться, что до него дошли преувеличенные слухи — ведь он сказал, что ее акции стоят меньше, чем ничего, и что банк не заплатит и шиллинга за фунт. Меня несколько утешило то, что мисс Мэтти, казалось, не совсем ему поверила. Впрочем, я не могла сказать, так ли это на самом деле, или она притворяется, ибо крэнфордские дамы ранга мисс Мэтти умели держать себя в руках и сочли бы свое достоинство униженным, если бы хоть чем-то выдали удивление, отчаяние или какое-нибудь другое такое же чувство собеседнику более низкого звания, да еще в лавке, полной народу. Но как бы то ни было, домой мы шли в молчании. Стыдно признаться, но насколько помню, меня рассердила и раздосадовала та решительность, с какой мисс Мэтти отдала свои соверены за злополучную банкноту. Мне так хотелось, чтобы она сшила себе новое шелковое платье, которое было ей очень нужно. И ведь обычно она проявляла такую нерешительность, что кто угодно мог отговорить ее от самого твердого намерения, однако на этот раз я почувствовала, что любые доводы окажутся бессильны — оттого-то я и сердилась.

После двенадцати мы признались друг другу, что успели узнать о новых модах все наиболее интересное, и пожаловались на телесную усталость (которая на самом деле была смятением духа), а потому решили больше из дома не выходить. Но о банкноте мы не обмолвились ни словом. Затем внезапно, сама не зная почему, я спросила мисс Мэтти, считает ли она себя обязанной выкупать за соверены все билеты Городского и сельского банка, которые попадутся ей на глаза. Не успела я договорить, как готова была откусить себе язык за эти слова. Мисс Мэтти бросила на меня печальный взгляд, словно я еще больше усугубила владевшую ею растерянность, и минуту-другую хранила молчание. Потом она сказала — моя милая, милая мисс Мэтти — без тени упрека в голосе:

— Деточка, мой ум никогда не был таким, какой называют ясным, и очень часто мне бывает тяжело решать, как я должна поступить, когда все уже случилось. И я была очень рада оттого, что сегодня утром сразу поняла, в чем состоит мой долг, увидев рядом с собой этого бедного фермера. Но у меня нет сил все время думать о том, что я сделаю, если случится то-то или то-то. И лучше будет просто подождать и посмотреть, что произойдет на самом деле; я верю, что тогда мне будет ниспослана помощь, если только я не стану заранее поддаваться тревоге и волнению, вы ведь знаете, милочка, что я не похожа на Дебору. Если бы Дебора была жива, то она, несомненно, привела бы в порядок их дела прежде, чем они их так запутали бы.

Обедали мы без всякого аппетита, хотя и пытались вести

непринужденный разговор о посторонних предметах. Когда мы вернулись в гостиную, мисс Мэтти отперла бюро и начала просматривать свою приходо-расходную книгу. Я так раскаивалась в моих утренних словах, что не посмела предложить ей помощь, и только не мешала ей, пока она, наморщив лоб, водила пером по столбцам сверху вниз. Некоторое время спустя она закрыла книгу, заперла бюро, прошла в тот угол, где я уныло сидела у огня, и села рядом. Я тихонько вложила свою руку в ее, она нежно сжала мои пальцы, но не произнесла ни слова. После долгого молчания она наконец сказала с насильственным спокойствием в голосе:

— Если банк разорится, я потеряю сто сорок девять фунтов тринадцать шиллингов и четыре пенса годового дохода; у меня останется только тринадцать фунтов в год.

Я крепко сжала ее руку. Я не знала, что ответить. Вскоре (в темноте мне не было видно ее лицо) я почувствовала, что ее пальцы судорожно дернулись в моих, и поняла, что она хочет сказать что-то еще. Она заговорила, и я услышала в ее голосе рыдание:

— Я надеюсь, что в этом нет ничего дурного... ничего грешного... только я очень рада, что бедная Дебора избежала этого. Она не вынесла бы подобной перемены в наших обстоятельствах, у нее ведь была такая благородная, такая возвышенная душа.

Это все, что она сказала о своей сестре, которая, вопреки всем доводам, настояла на том, чтобы поместить все их небольшое состояние в этот злополучный банк. В этот вечер мы зажгли свечу позднее обычного, и пока свет не понудил нас заговорить, сидели в грустном безмолвии.

Однако после чая мы взялись за шитье с притворной бодростью, которая, впрочем, вскоре стала почти настоящей, и принялись обсуждать все то же удивительное событие — помолвку леди Гленмайр. Мисс Мэтти была почти готова признать, что все вовсе не так уж плохо:

— Я не собираюсь отрицать, что мужчины в доме причиняют много хлопот. Я сужу не по собственному опыту: мой отец был сама аккуратность и, входя в переднюю вытирал ноги не менее тщательно, чем любая женщина. И все же мужчины обычно знают, как следует поступить в трудную минуту, а это большое утешение — иметь возле себя подобную опору. Теперь леди Гленмайр уже не будет ездить, не зная, где приклонить голову, а обретет собственный дом и спокойно заживет среди приятных и сердечных людей вроде нашей доброй мисс Пул или миссис Форрестер. И мистер Хоггинс, в сущности, очень представительный мужчина, ну, а его манеры... что такого, если они и не слишком изысканны? Я знавала людей, наделенных и истинно добрым сердцем, и большим умом, которые, хотя и

не обладали тем, что некоторые считают утонченностью, тем не менее были честными и великодушными.

Она умолкла, грезя о мистере Холбруке, и я не отвлекала ее, потому что мои мысли были заняты планом, который пришел мне в голову довольно давно, но который теперь из-за грозившего банкротства банка необходимо было привести в исполнение как можно скорее. В тот же вечер, после того как мисс Мэтти удалилась на покой я предательски вновь зажгла свечу и села в гостиной сочинять письмо аге Дженкинсу — письмо, которое должно было бы глубоко взволновать его, если бы он оказался Питером, но всякому другому показалось бы сухим изложением фактов. Прежде чем я кончила, церковные куранты успели пробить два.

На следующее утро стало известно и официально и неофициально, что Городской и сельский банк прекратил платежи. Мисс Мэтти лишилась всего своего состояния.

Она пыталась говорить со мной спокойно, но когда упомянула, что теперь ей придется жить на пять шиллингов в неделю, то не сумела сдержать слез.

— Я плачу не о себе, милочка, — сказала она, утирая их. — Мне кажется, я заплакала из-за очень глупой мысли, представив себе, как горевала бы мама, если бы она могла это знать. Ведь она всегда заботилась только о нас, а не о себе. Но у многих бедняков и этого нет, а я умею довольствоваться малым, и, благодарение богу, когда я заплачу за бараний бок, отдам Марте ее жалованье и внесу плату за дом, у меня не останется никаких долгов. Бедняжка Марта! Я думаю, ей будет грустно расставаться со мной.

Мисс Мэтти улыбнулась мне сквозь слезы, и я знаю, что она предпочла бы, чтобы я видела не их, а только эту улыбку.

## ГЛАВА XIV

### ДРУЗЬЯ В НУЖДЕ

То, как мисс Мэтти безотлагательно начала менять свою жизнь, чтобы приспособиться к своему новому положению, послужило мне хорошим уроком — и, наверное, могло бы кое-чему научить и других. Едва мисс Мэтти спустилась в кухню, чтобы поговорить с Мартой и сообщить ей о случившемся, я тихонько ускользнула из дома с письмом аге Дженкинсу и направилась к синьоре узнать его точный адрес. Я взяла с синьоры слово хранить все в секрете, но, впрочем, ей были свойственны военная краткость и сдержанность, и она всегда говорила очень мало, если не считать минут сильного душевного волнения. К тому же (что удваивало мою уверенность в безопасности этого секрета) синьор уже настолько поправился, что подумывал через несколько дней покинуть Крэнфорд и вновь отправиться в странствия вместе с женой и маленькой Фебой. Собственно говоря, я застала его над большой черно-красной афишей, в которой перечислялись таланты синьора Брунони и недоставало только названия того города, где он покажет их публике. И он, и его жена были так поглощены вопросом о том, каким словам красные буквы придадут наибольшую эффектность, что прошло довольно много времени, прежде чем мне удалось отвести синьору в сторону и задать ей свой вопрос, — но перед этим у меня успели спросить несколько советов, и я разуверилась в мудрости своих ответов тотчас, едва синьор высказал свои сомнения и доводы против... Наконец я получила адрес, записав его на слух, и выглядел он очень странно. По дороге домой я бросила конверт в ящик и минуту стояла, глядя на деревянную крышку с зияющей щелью, которая отделяла меня от письма, лишь мгновение назад зажатого в моих пальцах. Оно ушло от меня, как жизнь — безвозвратно. Ему предстоит качаться на океанских волнах, и, может быть, на нем останется след морской воды; его повезут под пальмами, и оно пропитается всеми тропическими ароматами — клочок бумаги, всего час назад такой знакомый и обыкновенный, отправился в путь в чуждые, ни ведомые страны за Гангом. Но я не могла долго предаваться подобным размышлениям, мне нужно было торопиться домой, чтобы мисс Мэтти меня нехватила. Дверь мне открыла Марта с лицом, опухшим от слез. Едва увидев меня, она снова заплакала, вцепилась в мой локоть, втащила меня в переднюю и громко хлопнула дверью, спрашивая,

правда ли то, что говорит мне Мэтти.

— Я от нее никогда не уйду. Нет уж. Я ей так прямо и сказала и еще сказала, что не знаю, как это она придумали отказать мне. Я бы на ее месте этого ни за что не сделала. Будто я такая же вертихвостка, как Роза, которая прослужила у миссис Фиц-Адам семь лет с половиной и вдруг польстилась на прибавку. Я сказала, что уж я-то мамоне так служить не стану, я-то понимаю, когда у меня хорошая хозяйка, хоть она и не понимает, когда у нее хорошая служанка...

— Но, Марта... — начала я, когда она на мгновение смолкла, утирая слезы.

— Нет уж, вы мне этих «но, Марта» не говорите, — огрызнулась она, рассердившись на мой назидательный тон.

— Будьте же благоразумны...

— А вот не буду! — объявила она, полностью обретая свой голос, который до тех пор приглушался всхлипываниями. — Благоразумно всегда только то, что другие хотят сказать. А по мне, я тоже ничего неразумного говорить не собираюсь. Да хоть бы и так! Я все равно все скажу и от своего слова не отступлю. У меня есть деньги в сберегательном банке, и платьев я себе нашила много, и от мисс Мэтти я не уйду. Нет уж! Пусть она мне отказывает от места хоть каждый божий день.

И Марта уперла руки в бока, точно бросая мне вызов, а я, по правде говоря, не знала, как мне ее переубедить, и к тому же чувствовала, насколько мисс Мэтти, здоровье которой все больше слабело, нуждается в заботах этой, доброй и преданной девушки.

— Ну... — сказала я наконец.

— Спасибо, что вы хоть с «ну» начали! Скажи вы опять «но», так я бы вас и слушать не стала. А теперь послушаю.

— Я знаю, как много потеряет мисс Мэтти, расставшись с вами, Марта...

— А я что ей говорила? И о том, как она после сама же жалеть будет, — с торжеством ответила Марта.

— И все же у нее осталось теперь так мало, так ничтожно мало, что я не представляю, как она сможет вас кормить — ей ведь и самой придется чуть ли не голодать. Я говорю вам про это, Марта, потому что считаю вас настоящим другом милой мисс Мэтти, но, как вы сами понимаете, ей такие разговоры были бы очень неприятны.

По-видимому, я нарисовала даже еще более черную картину, чем сама мисс Мэтти, потому что Марта опустилась на первый попавшийся стул и расплакалась в голос (мы с ней стояли на кухне).

Наконец она отняла передник от лица и, глядя прямо мне в глаза, спросила:

— Поэтому мисс Мэтти и не пожелала сегодня заказать пудинг на обед? Она сказала, что ей не хочется сладкого и что вы с ней обойдетесь бараньей котлеткой. Так я ее и послушала! Вы ей ничего не говорите, только я приготовлю для нее пудинг по ее вкусу, а заплачу за него сама, и вы уж приглядите, чтобы она его покушала. Человеку в горе всегда утешительно видеть на столе что-нибудь вкусненькое.

Я обрадовалась, что энергия Марты нашла непосредственный и практичный выход в сотворении пудинга, так как это позволило отложить бурный спор о том, оставит ли она службу у мисс Мэтти или нет. Марта надела чистый, передник, готовясь отправиться в лавку за маслом, яйцами и всем прочим, что могло ей потребоваться. Она не желала ни крошки взять из домашних запасов, а потому сняла с полки старый чайничек, в котором хранились ее расхожие деньги, и отсчитала нужную сумму.

Мисс Мэтти, когда я вошла к ней, была очень тихой и печальной, но вскоре она уже пыталась улыбаться ради меня. Мы решили, что я напишу отцу и попрошу его приехать и посоветовать, как и что делать дальше. После того как письмо это было отправлено, мы начали обсуждать планы будущего. Мисс Мэтти намеревалась снять одну комнатку, взять с собой столько мебели, сколько потребуется, чтобы ее обставить, а остальное продать и тихонько существовать на то, что будет оставаться после уплаты квартирной хозяйке. Меня это не удовлетворило: я лелеяла более честолобивые замыслы и принялась обдумывать, каким образом пожилая женщина, получившая то образование, которое давали девицам полвека назад, могла бы зарабатывать себе на жизнь или хотя бы пополнять свой скудный доход, не утрачивая при этом касты. В конце концов я отбросила это последнее условие и все-таки была не в силах вообразить, что такое могла бы делать мисс Мэтти.

Разумеется, первой моей мыслью было преподавание. Если бы мисс Мэтти могла хоть чему-то учить детей, это позволило бы ей проводить много времени в обществе шаловливых крошек, которых она так любит. Я перебрала в уме все ее таланты. Как-то она говорила, что могла бы сыграть на фортепьяно «Ah! vous dirai-je, maman?»<sup>[71]</sup>, но это было очень-очень давно, и призрачная тень былых музыкальных успехов исчезла бесследно уже много лет; назад. Точно так же когда-то она умела очень ловко сводить узоры для ришелье — она отмечала фестоны и дырочки, прикладывая кусок фольги к образчику и прижимая их к оконному стеклу. Но этим исчерпывались ее достижения в рисовании, и я решила, что их будет явно



недостаточно. Не лучше обстояло дело и с теми основами солидного английского образования — рукоделием и употреблением глобуса, — в которых наставляла своих питомиц, директриса пансиона для благородных девиц, куда все крэнфордские торговцы посылали своих дочерей. Зрение мисс Мэтти ослабело, и я опасалась, что она не сможет сосчитать нитки в узоре или верно подобрать разные оттенки шерсти для лица королевы Аделаиды на верноподданнических ковриках, которые в то время было модно вязать в Крэнфорде. Что же до употребления глобуса, то я сама никогда не могла уяснить, зачем это нужно, а потому не мне было судить, способна ли мисс Мэтти преподавать этот предмет; однако мне представлялось, что экваторы, тропики и прочие таинственные круги были для нее весьма и весьма воображаемыми линиями и что в Знаках Зодиака она видела только остатки черной магии.

Искусства же, в которых она, по ее собственному мнению, особо отличалась, исчерпывались изготовлением жгутиков для зажигания свечей, которые она вырезывала из цветной бумаги, придавая им форму перьев, и вязанием изящнейших подвязок. Однажды, получив в подарок особенно красивую пару, я сказала, что испытываю большой соблазн уронить одну из них на улице, чтобы ею могли полюбоваться и другие люди, но эта маленькая шутка (совсем-совсем маленькая) так оскорбила ее понятия о приличиях и вызвала такие искренние, такие серьезные опасения, как бы в один прекрасный день искушение не оказалось слишком сильным, что я от души пожалела о своих легкомысленных словах. Подношение этих искусно связанных подвязок, букетика ярких жгутиков или карточной колоды, по особому обмотанной шелком для вышивания, как все знали, свидетельствовало об особом расположении мисс Мэтти. Но станет ли кто-нибудь платить за обучение своих детей подобным искусствам? А главное, станет ли мисс Мэтти продавать за презренный металл умение изготавливать пустячки, дорогие тем, кто ее любил?

Мне пришлось смириться и снизить до чтения, письма и четырех правил арифметики, но, читая утром вслух главу из Священного писания, мисс Мэтти всегда откашливалась перед длинными словами. И мне представлялось сомнительным, чтобы она могла одолеть главу с родословной, сколько бы она ни кашляла. Почерк у нее был прекрасный и очень изящный, зато правописание!.. Она словно считала, что чем оно фантастичнее и чем больше затруднений ей доставляет, тем больше уважения она выказывает своему адресату. Во всяком случае, слова, написанные без единой ошибки в письме ко мне, превращались в подлинные головоломки, когда она писала моему отцу.

Нет! Не было ничего, в чем она могла бы наставлять подрастающее поколение крэнфордцев, разве что они с охотой и прилежанием попробовали бы научиться у нее терпению, смиренной кротости, доброте и умению тихо довольствоваться тем малым, что было ей дано. Я ломала и ломала голову до той минуты, пока Марта, вся опухшая от слез, не объявила, что обед подан.

У мисс Мэтти были свои маленькие привычки, которые Марта обыкновенно считала пустыми капризами, не стоящими ее внимания, детскими фантазиями, от которых пятидесятивосьмилетней старушке пора было бы избавиться. Но сегодня Марта не забыла ни *j* чем. Хлеб был нарезан с той немислимой степенью совершенства, которую, как помнилось мисс Мэтти, предпочитала ее матушка, а занавеска на окне была задернута так, что совсем скрывала от взгляда глухую стену соседней конюшни, но не заслоняла ни единого листочка на тополе, одевавшемся в нежный весенний наряд. К мисс Мэтти Марта обращалась тем тоном, который эта верная, но грубоватая служанка обычно приберегала для маленьких детей — я еще ни разу не слышала, чтоб она так говорила со взрослыми.

Я забыла предупредить мисс Мэтти о пудинге и опасалась, что она не воздаст ему должного, так как у нее в этот день совсем не было аппетита. А потому, воспользовавшись минутой, когда Марта унесла жаркое, я посвятила мисс Мэтти в эту тайну. Ее глаза наполнились слезами, и она не могла вымолвить ни слова удивления или восторга, когда Марта вернулась, гордо неся перед собой пудинг, которому с неподражаемым искусством, была придана форма льва couchant.<sup>[72]</sup> Лицо Марты сияло, и она поставила блюдо перед мисс Мэтти с торжествующим «Вот!». Мисс Мэтти хотела поблагодарить ее и не смогла. Тогда она взяла руку Марты и ласково ее пожала, отчего Марта расплакалась, да и я с трудом сохранила необходимое самообладание. Марта выбежала из комнаты, а мисс Мэтти пришлось раза два откашляться, прежде чем она смогла заговорить. Наконец она сказала:

— Как мне хотелось бы сохранить этот пудинг под стеклянным колпаком, милочка.

Образ льва couchant с глазками-изюминками, вознесенного на почетное место в середине каминной полки, так подействовал на мою взбудораженную фантазию, что я начала смеяться, несколько удивив мисс Мэтти.

— Право, милочка, мне приходилось видеть под стеклянными колпаками и куда более некрасивые предметы, — заметила она.

Я также их видела — много и часто, а потому я придала своему лицу

серьезное выражение (и тут же чуть не расплакалась), после чего мы обе принялись за пудинг, который и правда был удивительно вкусным — и все-таки каждый кусочек застревал у нас в горле, так полны были наши сердца.

Нам надо было о многом подумать, а потому в послеобеденные часы мы почти не разговаривали, и они прошли очень спокойно. Но когда Марта принесла чайный прибор, меня осенила новая мысль. А почему бы мисс Мэтти не начать торговать чаем? Почему бы не стать агентом Индийской чайной компании, существовавшей в те годы? Я не могла обнаружить в этом плане никаких темных сторон, а преимуществ он сулил много — конечно, при условии, что мисс Мэтти согласится снизить до столь плебейского занятия, как торговля. Чай не был ни соевым, ни липким, что было важно, так как мисс Мэтти не переносила ничего соевого и липкого. Для него не потребуется витрины. Правда, без небольшой благородной дощечки с указанием, что ей дано разрешение торговать чаем, обойтись будет нельзя, но, наверное, дощечку эту удастся прибить так, чтобы ее никто не видел. К тому же чай легкий, и мисс Мэтти будет нетрудно снимать его с полок. Против моего плана было только одно возражение: он включал необходимость покупать и продавать.

Я рассеянно отвечала на вопросы, которые мисс Мэтти задавала мне почти столь же рассеянно, как вдруг мы услышали тяжелые шаги на лестнице и тихий шепот под дверью, которая вдруг приоткрылась и тотчас опять захлопнулась, точно под воздействием невидимой силы. Потом в гостиную вошла Марта, таща за собой высокого широкоплечего молодца, совсем багрового от смущения, которое заставляло его то и дело приглаживать волосы.

— С вашего разрешения, сударыня, это всего только Джем Хирн, — объяснила Марта.

Она так запыхалась, что, видимо, ей пришлось приложить некоторые физические усилия, прежде чем она преодолела его нежелание вступить в аристократические пределы гостиной мисс Матильды Дженкинс.

— И, с вашего разрешения, сударыня, он хочет сейчас же обвенчаться со мной. И, с вашего разрешения, сударыня, нам надо бы подыскать себе жильца, кого-нибудь тихого и спокойного, чтобы свести концы с концами, а уж дом мы выберем самый удобный. И, милая мисс Мэтти, уж простите меня за дерзость, только не согласились бы вы поселиться у нас? Джем этого хочет не меньше меня... Что же ты молчишь, дуралей? (Вполголоса Джем.) Мог бы и поддакнуть мне. Но он все равно очень этого хочет, верно ведь, Джем? Только, видите ли, он немножко ошалел, что ему приходится говорить с благородной дамой.

— Да не в том дело, — перебил ее Джем, — А просто ты меня совсем ошарашила: я ж вовсе не думал жениться так вот в один присест, ну, и от такой спешки и правда ошалеть можно. Я вовсе и не против, сударыня (это было адресовано мисс Мэтти), да только Марта если уж что заберет в голову, так чтоб сразу было по ее, а женитьба, сударыня, женитьба мужчине предел кладет, можно сказать. Ну, а как дело будет кончено, я и сам, пожалуй, спасибо скажу.

— С вашего разрешения, сударыня, — заявила Марта, которая дергала его за рукав, толкала локтем и еще по-всякому старалась заставить замолчать, — не надо его слушать. Он сейчас опомнится. Да ведь вчера вечером он от меня не отставал: когда да когда мы поженимся, и только пуще уговаривал, как я сказала, что пока ни о чем таком и думать не хочу. Ну, вот он от радости и растерялся немножко. А насчет того, чтобы взять жильца, так ты, Джем, этого не меньше меня хочешь, сам ведь знаешь. (Новый удар локтем под ребра.)

— Само собой, если мисс Мэтти согласится поселиться у нас, а так нужно мне очень, чтобы в доме чужой народ толокся! — объявил Джем весьма нетактично, что, как я заметила, совсем вывело Марту из себя: ведь она изо всех сил старалась представить дело так, будто оба они мечтают о жильце и мисс Мэтти сделает им большое одолжение, дав согласие поселиться у них.

Что до мисс Мэтти, то они ввергли ее в полную растерянность. Принятое ими (а вернее говоря, Мартой) решение тотчас вступит в брак ошеломило ее и совсем заслонило план Марты.

— Брак — вещь очень серьезная, Марта, — начала она.

— Что верно, то верно, сударыня, — изрек Джем. — Но не то чтобы я что имел против Марты.

— То ты мне проходу не давал, чтобы я скорее согласилась пойти за тебя, — заявила Марта, вся красная и готовая расплакаться от досады, — а теперь срамишь меня перед хозяйкой.

— Да что ты, Марта! Ладно тебе! Только человеку нужно и дух перевести, — сказал Джем, пытаясь взять ее за руку, но это ему не удалось. Тогда, заметив, что она обиделась гораздо сильнее, чем ему казалось, Джем, видимо, постарался собраться с мыслями и с прямодушным достоинством (за десять минут до этого я бы ни за что не поверила, что он может так выглядеть) сказал, повернувшись к мисс Мэтти: — Сударыня, вы ведь понимаете, что я не могу не уважать тех, кто был добрым с Мартой. Я же с самого начала думал, что она будет моей женой — только попозже, а она всегда твердила, что добрее вас никого на свете нет. И хоть, если по

чистой совести сказать, обыкновенные жильцы мне ни к чему, но коли вы, сударыня, окажете нам честь поселиться у нас, то уж Марта все сделает, чтобы вам было хорошо, а я постараюсь поменьше попадаться вам на глаза: по-моему, это самое лучшее, что может сделать такой неотесанный парень, как я.

Мисс Мэтти то и дело снимала очки, протираала их и снова надевала. Однако она сумела сказать только следующее:

— Пожалуйста, из-за меня не торопитесь жениться. Пожалуйста! Ведь брак — это такая серьезная вещь!

— Но мисс Матильда обдумает ваше предложение, Марта, — сказала я, так как оно показалось мне очень заманчивым и я не хотела, чтобы его отвергли без размышлений. — И, во всяком случае, ни она, ни я не забудем вашей доброты. И вашей тоже, Джем.

— Что верно, то верно, сударыня. Я ведь от чистого сердца говорил, хотя немножко и растерялся, что вот так прямо и женюсь, и, может, что и не так сказал. Вообще-то я не прочь, только мне время нужно, чтобы попривыкнуть. Ну, так чего же ты, Марта, плачешь и дерешься, чуть я к тебе подойду?

Последнее было произнесено sotto voce и заставило Марту выскочить из комнаты, чтобы ее возлюбленный мог догнать ее и утешить. А мисс Мэтти опустила на стул и расплакалась, объяснив затем, что столь скорый брак Марты ее поразил и она никогда себе не простит, если бедняжка поторопилась из-за нее. Боюсь, я больше жалела Джема, но и мисс Мэтти и я вполне оценили доброту честной пары, хотя почти ничего об этом не сказали, а заговорили о неожиданностях и опасностях, которыми чреват всякий брак.

На следующее утро в очень ранний час я получила записочку от мисс Пул, сложенную так хитро и запечатанную столькими печатями, чтобы сохранить тайну, что я порвала ее прежде, чем мне удалось ее вскрыть. А когда я добралась до самой записки, то так и не сумела толком понять, о чем идет речь, столь сложным и эзоповским был ее язык. Однако я разобрала, что мисс Пул ждет меня у себя в одиннадцать часов утра — число «одиннадцать» было написано и буквами и цифрами, а «утра» подчеркнуто дважды, словно без этого мне могло бы прийти в голову посетить ее в одиннадцать часов вечера, хотя весь Крэнфорд имел обыкновение крепко спать уже в десять. Вместо подписи стояли инициалы мисс Пул в обратном порядке — «П. Э.», но поскольку Марта вручила мне записку «с наилучшими пожеланиями от мисс Пул», гадалщика для того, чтобы узнать, от кого она, не требовалось, и если имя отправителя нужно

было сохранить в тайне, оставалось только радоваться, что я была одна, когда Марта принесла мне эту записку.

Я явилась к мисс Пул в назначенный час. Дверь мне открыла ее маленькая горничная Бетти, наряженная по-воскресному, точно этот будний день должен был ознаменоваться каким-то великим событием. И гостиная наверху тоже была убрана соответственным образом. На столе накрытом лучшей карточной скатертью из зеленого сукна, стоял письменный прибор. На шкафчике покоился поднос с графинчиком только что налитой настойки из первоцвета и бисквитами «дамские пальчики». Сама мисс Пул была в парадном туалете, словно готовилась к приему визитеров, хотя еще не пробило одиннадцати. В уголке гостиной тихо плакала миссис Форрестер, и мой приход как будто послужил сигналом для новых слез. Не успели мы поздороваться (со зловещей таинственностью), как в дверь снова постучали и в гостиную вошла миссис Фиц-Адам, совсем багровая от быстрой ходьбы и волнения. По-видимому, больше мисс Пул никого не ждала, так как она произвела несколько действий, свидетельствовавших; о намерении приступить к делу: помешала в камине, открыла и закрыла дверь, откашлялась и высморкалась. Затем она усадила нас вокруг стола таким образом, чтобы я оказалась напротив нее, и в заключение спросила меня, действительно ли справедлива, как она опасается, печальная новость о том, что мисс Мэтти лишилась всего своего состояния.

Разумеется, ответить на это я могла только одно, и мне еще не приходилось видеть такого безыскусственного сочувствия, какое появилось на трех обращенных ко мне лицах.

— Ах, как мне хотелось бы, чтобы миссис Джеймисон была здесь! — произнесла миссис Форрестер, нарушая общее молчание, но, судя по выражению лица миссис Фиц-Адам, она отнюдь не разделяла этого желания.

— Но и без миссис Джеймисон, — сказала мисс Пул с легчайшим оттенком оскорбленного достоинства в голосе, — мы, крэнфордские дамы, собравшиеся в моей гостиной, можем принять некоторые решения. Мне кажется, никто из нас не обладает тем, что именуется богатством, хотя мы все располагаем приличным состоянием, достаточным для элегантного и утонченного вкуса, который в любом случае пренебрег бы вульгарным выставлением напоказ своих денежных средств. (Тут мисс Пул, как я заметила, бросила быстрый взгляд на зажатую в ладони карточку, на которой, я полагаю, она набросала кое-какие заметки.) Мисс Смит, — продолжала она, обращаясь ко мне (все присутствующие звали меня попросту Мэри, но случай был торжественный), — я побеседовала

частным образом, посвятив этому вторую половину вчерашнего дня, с этими дамами о несчастье, постигшем нашего общего друга, и мы все единодушно согласились, что, поелику мы обладаем чем-то сверх необходимого, для нас будет не только исполнением долга, но и радостью... истинной радостью, Мэри, — ее голос на этом месте прервался, я она была вынуждена протереть очки, прежде чем продолжать, — оказать посильную помощь ей... мисс Матильде Дженкинс. Однако, принимая во внимание деликатное чувство щепетильной независимости, присущее каждой утонченной женской натуре (тут она, несомненно, вновь обратилась к своей карточке), мы желали бы внести свою лепту втайне и скрыто, дабы не оскорбить чувства, мною выше упомянутого. И цель, которую мы имели в виду, приглашая вас сюда сегодня утром, такова: считая вас дочерью... то есть прелику ваш батюшка пользуется ее доверием во всех финансовых делах, мы предположили, что, посоветовавшись с ним, вы могли бы изыскать способ, с помощью которого нашу лепту удалось бы представить, как законную сумму, каковую мисс Матильде Дженкинс положено получать от... Вероятно, ваш батюшка, зная, куда она вкладывала свои деньги, сможет заполнить этот пробел.

Мисс Пул закончила свою речь и обвела присутствующих взглядом, ожидая знаков одобрения и согласия.

— Я изложила то, что вы имели в виду, милостивые государыни, не так ли? А теперь, пока мисс Смит будет обдумывать свой ответ, разрешите предложить вам небольшое угощение.

Я не смогла ответить почти ничего. Мое сердце переполняла такая благодарность за их доброту и заботливость, что для нее у меня не было слов, а потому я пробормотала что-то вроде того, что «я передам сказанное мисс Пул моему отцу» и что «если удастся что-нибудь устроить для милой мисс Мэтти»... тут я окончательно утратила власть над собой, и меня пришлось отпаивать стаканчиком настойки из первоцвета, прежде чем мне удалось совладать со слезами, которые я подавляла уже третий день. А хуже всего было то, что и они тоже дружно заплакали. Плакала даже мисс Пул, хотя она сотни раз повторяла, что дать волю своим чувствам в чьем-либо присутствии значит выказать непростительную слабость и неумение сдерживаться. Ее слезы сменились досадой на меня зато, что я подала им дурной пример, а к тому же, я полагаю, она рассердилась, что я не сумела ответить на ее речь такой же речью. Знай я заранее, что будет сказано, и запиши я на карточку подходящие слова для выражения тех чувств, которые, по-видимому, могли пробудиться в моем сердце, я попыталась бы сделать то, чего она хотела. Теперь же, когда мы справились со своим

волнением, первой заговорила миссис Форрестер:

— Среди друзей я могу признаться, что я... нет, не то чтобы бедна, но и не богата, о чем жалею из-за милой мисс Мэтти. Но, с вашего разрешения, я напишу, сколько я могу дать, и запечатаю — и поверьте, поверьте, милая Мэри, я хотела бы, чтобы это было больше.

Тут я поняла, зачем были приготовлены чернила, перья и бумага. Все они написали, сколько могут давать в год — каждая на своем листке, — расписались и с таинственным видом запечатали листки. Если их предложение будет принято, мой отец, обещав хранить все в секрете, получал право заглянуть в листки, если же нет — их следовало вернуть не вскрытыми тем, кто их писал.

Когда эта церемония завершилась, я встала, собираясь уйти, но тут оказалось, что каждая из них хотела поговорить со мной наедине. Мисс Пул задержала меня в гостиной, чтобы объяснить мне, почему она в отсутствие миссис Джеймисон позволила себе «возглавить это движение», как ей угодно было выразиться, а также для того, чтобы уведомить меня, что из надежных источников ей стало известно, что миссис Джеймисон возвращается домой в сильном негодовании против своей свойственницы, которой придется немедленно покинуть ее дом и (если она не ошибается) возвратиться в Эдинбург сегодня же вечером. Разумеется, она не могла рассказать об этом в присутствии миссис Фиц-Адам, тем более что, по ее мнению, помолвка леди Гленмайр с мистером Хоггинсом не выдержит грозного неудовольствия миссис Джеймисон. В заключение мисс Пул заботливо расспросила меня о здоровье мисс Мэтти, и на этом моя беседа с ней закончилась.

Спустившись вниз, я обнаружила, что у двери столовой меня поджидает миссис Форрестер. Она поманила меня внутрь, закрыла дверь и попыталась что-то мне объяснить, но, по-видимому, тема эта была чрезвычайно щекотливой, и я уже начала было отчаиваться, решив, что так никогда и не пойму, в чем, собственно, дело. Наконец бедная старушка выговорила роковые слова — трепеща так, словно она созналась в неслыханном преступлении, она открыла мне, на какие крохи, на какие жалкие крохи она существует. Признание это было вырвано у нее опасениями, как бы мы не подумали, будто ее любовь и уважение к мисс Мэтти измеряются той незначительной суммой, которая названа в ее записке. А ведь эта сумма, отдаваемая с такой охотой, составляла более двадцатой части того дохода, на который миссис Форрестер должна была жить, содержать дом и маленькую служанку, как подобает урожденной Тиррел. Когда же весь этот доход не достигает и ста фунтов, отказ от



двадцатой его части означает необходимость многого себя лишать и приносить жертвы, пусть ничтожные и незаметные на взгляд света, но имеющие иную цену в некой учетной книге, про которую мне доводилось слышать. Ей так хотелось бы быть богатой, сказала она и продолжала повторять это, вовсе не думая о себе, а движимая лишь грустным неосуществимым желанием надежно оградить мисс Мэтти от нужды.

Я довольно долго успокаивала ее, а когда наконец вышла из дома мисс Пул, меня перехватила миссис Фиц-Адам, которая тоже хотела доверить мне секрет, но противоположного характера. Она побоялась записать столько, сколько могла и хотела бы дать. Она сказала, что не осмелилась бы взглянуть мисс Мэтти в глаза, если бы допустила подобную дерзость.

— Мисс Мэтти! — продолжала она. — Я ведь думала, что лучше нее барышни и на свете нет, в те дни, когда я была простой деревенской девчонкой и возила в город яйца, масло и всякую такую всячину. Папенька, хоть и был зажиточным, всегда посылал меня туда, как прежде маменьку, и я каждую субботу отправлялась в Крэнфорд, торговала, узнавала цены, ну, и все такое. И вот, помню, как-то повстречала я мисс Мэтти на дороге, которая ведет в Комхерст. Она шла по тропинке, которая проложена повыше дороги, — ну, вы знаете, а рядом с ней ехал верхом какой-то джентльмен и что-то ей говорил, а она смотрела на букетик цветов, которые собрала, обрывала у них лепестки и, по-моему, плакала. Она прошла мимо меня, но потом обернулась и побежала за мной, чтобы справиться — и так сердечно! — о моей бедной маменьке, которая лежала тогда на смертном одре. А когда я расплакалась, она взяла меня за руку и стала утешать, а ведь ее дожидался этот джентльмен, и на сердце у нее, бедняжки, видно, было нелегко. И я еще тогда подумала, какая это честь, что со мной так ласково разговаривает дочка городского священника, которая бывает в гостях в Арли-Холле. С той поры я ее навсегда полюбила, хоть, может, это и была с, моей стороны большая смелость. Но если бы вы могли придумать способ, чтобы я дала больше остальных и никто про это не узнал, я была бы очень вам признательна, деточка. И мой брат будет только рад лечить ее без всякой платы — ну, и лекарства там или пивоварки. Я знаю, что он и ее милость (вот уж не думала я, деточка, в тот день, про который вам рассказывала, что стану золовкой титулованной дамы!) — готовы для нее сделать что угодно. И мы все тоже.

Я сказала ей, что нисколько в этом не сомневаюсь, и обещала все, что она хотела, так как торопилась домой к мисс Мэтти, у которой были все причины встревожиться — ведь я покинула ее на два часа и не могла бы объяснить зачем. Однако она не заметила, сколько прошло времени, так как

была занята бесчисленными приготовлениями, предварявшими решительное событие — отказ от дома. Эти хлопоты, несомненно, были для нее облегчением: ведь, по ее словам, стоило ей задуматься, как она вспоминала бедного фермера с ничего не стоящей пятифунтовой бумажкой и чувствовала себя очень нечестной. Но если это тягостно для нее, то какие же муки должны испытывать директора банка, которые, конечно, знают о несчастьях, вызванных его крахом, куда больше, чем она? Я почти рассердилась на нее за то, что она делила свое сочувствие между директорами (по ее мнению, они терзались невыносимыми угрызениями совести из-за того, что так скверно распорядились деньгами других людей) и теми, кто пострадал, подобно ей самой. Она даже полагала, что бедность — более легкое бремя, чем угрызения совести, но я про себя надумала, что директора банка вряд ли с ней согласятся.

На свет были извлечены семейные реликвии, чтобы установить их денежную стоимость, которая, к счастью, оказалась незначительной; право, не знаю, как бы мисс Мэтти в противном случае нашла в себе силы расстаться с обручальным кольцом своей матери, с нелепой булавкой, которой ее отец уродовал свое жабо, и с прочим. Тем не менее мы рассортировали их согласно их стоимости, и когда на следующее утро приехал мой отец, мы были готовы к разговору с ним.

Я не собираюсь докучать вам подробностями — в частности, потому, что тогда я не понимала того, чем мы занимались, а теперь ничего не помню. Мисс Мэтти и я согласно кивали, знакомясь со счетами, планами, отчетами и разными деловыми документами, хотя, как я глубоко убеждена, не понимали в них ни слова. Мой отец обладал превосходным деловым умом и решительностью, а потому, стоило нам задать самый пустячный вопрос или выразить малейшее недоумение, он отрывисто восклицал: «Э? Э? Но это же ясно как божий день. Что вы хотите возразить?» А поскольку мы не понимали, что он предлагает, нам было трудно высказать наши возражения, тем более что мы вовсе не были уверены, есть ли они у нас. Поэтому мисс Мэтти вскоре впала в состояние нервной покорности и при каждой паузе произносила «да-да» или «конечно», требовалось ли это или нет. Однако когда я, подобно хору, подхватила «решительно так», произнесенное мисс Мэтти трепетным, исполненным сомнения голосом, отец мгновенно обернулся ко мне и спросил: «Но что тут решать?» И право же, я и по сей день этого не знаю. Однако мне следует упомянуть, что он приехал из Драмбла помочь мисс Мэтти, когда его собственные дела находились в довольно тяжелом положении и каждая минута была у него на счету.

Затем мисс Мэтти оставила нас, чтобы распорядиться насчет завтрака (разрываясь между желанием приготовить для моего отца какое-нибудь вкусное и изящно сервированное блюдо и убеждением, что теперь, лишившись всех своих денег, она не имеет права на подобные желания), и я рассказала ему о совещании крэнфордских дам у мисс Пул. Пока я говорила, он то и дело проводил рукой по глазам, а когда я сообщила ему, как Марта просила мисс Мэтти поселиться у них с Джемом, он отошел от меня к окну и принялся барабанить пальцами по подоконнику. Затем он внезапно обернулся и сказал:

— Видишь, Мэри, как безыскусственная доброта всюду завоевывает себе друзей. Черт возьми! Какую проповедь мог бы я сказать об этом, будь я попом! А так у меня выходит что-то бессвязное, но, конечно, ты понимаешь, что я хотел бы сказать. После завтрака мы с тобой пойдем погулять и обсудим эти планы подробнее.

Тут как раз был подан завтрак — горячая сочная баранья отбивная и ломтики нарезанного и поджаренного ростбифа. Все это было съедено до последнего кусочка, к большому удовольствию Марты. Затем отец без обиняков сказал мисс Мэтти, что хочет поговорить со мной с глазу на глаз и потому пойдет прогуляться и посмотреть старые места, а я потом ей сообщу, какой план нам представляется наилучшим. Перед тем как мы ушли, мисс Мэтти отозвала меня в сторону и сказала:

— Помните, милочка, я осталась последней... То есть я хочу сказать, что никому не будет неприятно, чем бы я ни занялась. А я готова взяться за любую полезную и честную работу. И мне кажется, если Дебора и узнает там, где она сейчас, ей не будет так уж горько, что я больше не могу считать себя принадлежащей к благородному сословию. Видите ли, милочка, ей ведь будет известно все. Только скажите мне, что я могу делать, чтобы вернуть, насколько мне удастся, бедным людям их деньги.

Я расцеловала ее и побежала догонять отца. Результат нашего разговора был таков: если никто не будет против, Марта и Джем обвенчаются как можно скорее, и все они будут жить в нынешнем доме мисс Мэтти, так как большую часть платы за него покроет сумма, которую крэнфордские дамы предложили выплачивать ежегодно, а те деньги, которые мисс Мэтти будет платить Марте за квартиру, та сможет тратить на нее же. Распродажу имущества отец сначала не одобрил. Он сказал, что за старую фамильную мебель, как ее ни оберегали и ни лелеяли, удастся выручить очень малой что эти крохи будут лишь каплей в море долгов Городского и сельского банка. Но когда я объяснила, насколько успокоит чуткую совесть мисс Мэтти сознание, что она сделала все, что могла, он

сдался — после того как я рассказала ему о случае с пятифунтовой банкнотой и он выбрал меня за то, что я не сумела помешать мисс Мэтти. Затем я упомянула о том, как мне пришло в голову, что она могла бы увеличить свой скудный доход, продавая чай, и, к моему удивлению (сама я было совсем от нее отказалась), мой отец ухватился за эту мысль со всей энергией опытного коммерсанта. По-моему, он начал считать цыплят задолго до осени, так как немедленно прикинул, что в Крэнфорде она сможет получить прибыли от этой торговли до двадцати фунтов в год. Маленькую столовую внизу можно переделать в лавку без каких-либо стеснительных ее атрибутов. Прилавком будет служить стол, одно окно останется, как есть, а другое заменит стеклянная дверь. Эта блестящая идея, видимо, подняла меня в его глазах. Мне оставалось только надеяться, что оба мы не упадем в глазах мисс Мэтти.

Но она выслушала меня терпеливо и была довольна всем, что мы предложили. Она знает, сказала она, что мы стараемся сделать для нее все как можно лучше, и она только надеется, только ставит единственным условием, что она по мере сил будет уплачивать то, что может считаться ее долгом — ради своего отца, который пользовался в Крэнфорде таким уважением. Мы с отцом договорились упоминать о банке как можно реже, а если удастся, то и вовсе о нем не упоминать. Некоторые наши планы, видимо, привели ее в недоумение, но утром она достаточно долго наблюдала, как мне доставалось за недостаток сообразительности, а потому не осмелилась задавать слишком много вопросов. Так что все сошло хорошо, и она только выразила надежду, что из-за нее никто излишне не поторопится связать себя брачными узами. Когда мы заговорили о том, что ей следует торговать чаем, это, как я заметила, ее сильно смутило — но не из-за связанной с этим утраты аристократического статуса, а лишь потому, что она опасалась не справиться со своими новыми обязанностями и робко предпочла бы некоторые лишения деятельности, для которой не годилась. Однако, заметив, что мой отец не намерен отступать, она со вздохом обещала попробовать, а если у нее ничего не получится, то ведь ей можно будет оставить это занятие. Хорошо хоть, что мужчины как будто никогда не покупают чаю, а особенный страх ей внушали именно мужчины. Они говорят так резко и так громко! И так быстро считают, сколько с них следует и какую сдачу они должны получить! Вот если бы ей было можно только продавать конфеты детям, им она, наверное, сумела бы угодить.

## ГЛАВА XV

# СЧАСТЛИВОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

Я покинула Крэнфорд, только когда дела мисс Мэтти были устроены наилучшим возможным образом. Было даже получено одобрение миссис Джеймисон, решившей, что мисс Мэтти допускается продавать чай. Этот оракул в течение нескольких дней размышлял, должна ли торговля чаем лишить мисс Мэтти ее светских привелегий или нет. Мне кажется, миссис Джеймисон метила больше в леди Гленмайр, когда наконец она вынесла свой приговор, а именно: если, согласно строгим законам придворного этикета, положение замужней женщины определяется рангом ее мужа, то незамужняя женщина сохраняет статус своего отца. Таким образом, Крэнфорд получил позволение делать визиты мисс Мэтти, а что до леди Гленмайр, то наносить визиты ей он собирался и без всякого позволения.

Но каково же было наше удивление, наше смятение, когда мы узнали, что в следующий вторник в город возвращаются мистер и — подумать только! — миссис Хоггинс. Миссис Хоггинс! Неужели она навсегда отказалась от своего титула и из чистейшей бравады порвала свои связи с аристократией, чтобы стать какой-то Хоггинс? Она, которая до смертного часа могла бы называться леди Гленмайр! Миссис Джеймисон была довольна. По ее словам, так подтвердилось то, что она знала с самого начала — что вкусы у этой особы самые низменные. Однако «эта особа» в воскресенье в церкви казалась очень счастливой, а мы не сочли нужным приспустить вуали на шляпках с той стороны, которая была обращена к мистеру и миссис Хоггинс, как сделала это миссис Джеймисон, не увидев в результате ни его сияющего лица, ни ее смущенного румянца, очень ее красившего. Пожалуй, даже Джем и Марта не так светились счастьем, когда они к вечеру, в свою очередь, впервые появились на людях как муж и жена. В тот день, когда мистер и миссис Хоггинс принимали визитеров, миссис Джеймисон, чтобы несколько утишить бушевавшую в ее груди бурю, приказала опустить шторы у себя в доме, точно во время похорон, и ее лишь с трудом удалось уговорить не отказываться от «Сентджеймской хроники» — в такое негодование привела ее эта газета, поместив на своих страницах объявление об этом бракосочетании.

Распродажа имущества мисс Мэтти прошла великолепно. Она сохранила мебель гостиной и спальни (первой из этих комнат она

согласилась пользоваться, пока Марта не подыщет для нее жильца), и в эти же гостиную и спальню ей пришлось втиснуть всевозможные вещи, которые — как заверил ее аукционщик — были куплены для нее на распродаже неизвестным другом. Я всегда подозревала, что этим другом была миссис Фиц-Адам, но ей, несомненно, помогал сообщник, знавший, какие вещи были особенно дороги мисс Мэтти из-за воспоминаний юности. Разумеется, весь остальной дом выглядел довольно голо, за исключением маленькой спальни, мебель которой отец позволил мне купить на случай моих будущих приездов, если мисс Мэтти захворает.

Собственные мои небольшие сбережения я израсходовала на всевозможные конфеты и леденцы, чтобы детишки, которых так любила мисс Мэтти, начали приходить к ней. Чай в ярко-зеленых жестяных ящичках и конфеты в стеклянных вазах — мы с мисс Мэтти испытывали немалую гордость, когда оглядывали лавку вечером накануне ее открытия. Марта отскребла половицы до снежной белизны, а перед столом-прилавком расстелила пеструю клеенку, на которой должны были стоять покупатели. В комнате приятно пахло штукатуркой и побелкой. Очень маленькая дощечка с надписью «Матильда Дженкинс, лицензированная торговля чаем» пряталась за притолокой новой двери, а на полу два ящика с чаем, испещренные кабалистическими письменами, ждали, чтобы и их содержимое было переложено в жестянки.

Мисс Мэтти, как мне следовало бы упомянуть раньше, не чувствовала себя вправе продавать чай, так как в городе уже имелась лавка мистера Джонсона, многочисленные товары которого включали и этот колониальный продукт. А потому, прежде чем окончательно примириться с мыслью о своем новом занятии, она тайком от меня отправилась к нему, чтобы поставить его в известность о нашем плане и осведомиться, не повредит ли это его торговле. Мой отец назвал ее щепетильность «отъявленным вздором» и заметил, что не понимает, «как стали бы жить торговцы, если бы они только и делали, что соблюдали интересы друг друга, отчего коммерческой конкуренции сразу же пришел бы конец». И быть может, для Драмбла это не годилось, однако в Крэнфорде все уладились как нельзя лучше, ибо мистер Джонсон не только любезно успокоил мисс Мэтти и рассеял ее опасения, но, насколько мне известно, неоднократно присылал к ней покупателей, заявляя, что у него чай простой, а вот у мисс Дженкинс можно найти все самые лучшие сорта. А дорогой чай — это излюбленный предмет роскоши зажиточных ремесленников и богатых фермеров, которые презрительно отворачиваются от «конгу» и «сучона», принятых во многих благородных домах, и берут для себя только

зеленый «ганпаудер» и черный «пекоу».

Но вернемся к мисс Мэтти. Было удивительно приятно наблюдать, как ее бескорыстие и простодушные понятия о справедливости пробуждали в окружающих такие же добрые чувства. Она как будто никогда не опасалась, что кто-то может обмануть ее — ведь сама она этого ни при каких обстоятельствах не сделала бы. Я слышала, как она оборвала клятвенные заверения торговца углем, сказав спокойно: «Я знаю, вам было бы очень неприятно, если бы вы привезли мне неполный вес угля». И если в тот раз уголь и был отмерен неполной мерой, я убеждена, что больше этого никогда не случалось. Злоупотребить ее доверием людям было так же стыдно, как злоупотребить доверием ребенка. Однако мой отец утверждает, что «такое простодушие, возможно, хорошо для Крэнфорда, но в большом мире оно до добра не доведет». И наверное, большой мир весьма дурен, так как мой отец, подозревающий, всех, с кем он заключает сделки, и принимающий всяческие предосторожности, тем не менее только в прошлом году потерял из-за чьего-то плутовства более тысячи фунтов.

Я задержалась в Крэнфорде ровно на столько времени, сколько понадобилось, чтобы мисс Мэтти свыклась со своим новым образом жизни, а также чтобы упаковать библиотеку ее отца, которую купил крэнфордский священник. Он написал мисс Мэтти очень доброе письмо, объясняя, «как рад он будет приобрести столь отлично подобранную библиотеку, какой, несомненно, должна быть библиотека покойного мистера Дженкинса, за любую назначенную цену». А когда она дала согласие — с грустной радостью, потому что книгам предстояло вернуться в дом ее юности и снова выстроиться у привычных стен, — он прислал сказать, что не знает, найдется ли у него место для них всех, а потому не окажет ли ему мисс Мэтти любезность и не оставит ли кое-какие из них на своих полках. Но мисс Мэтти сказала, что у нее есть Библия и джонсоновский «Словарь», а времени на чтение у нее, к сожалению, вряд ли будет оставаться много. Тем не менее я сохранила несколько книг из уважения к доброте священника.

Деньги, которые он заплатил, а также вырученные при распродаже частично были истрачены на запасы чая, а частично отложены на черный день, то есть на случай болезни и на старость. Сумма эта была очень невелика, но и она потребовала уверток и лжи во спасение (я считала, что это очень дурно — в теории, и предпочла бы не делать этого на практике), но мы знали, как будет мучиться мисс Мэтти, если ей станет известно, что у нее что-то отложено, когда долги банка еще не выплачены. К тому же ей так и не сказали, что ее друзья помогают платить за дом. Я предпочла бы

открыть ей это, но таинственность придавала доброму поступку старушек некоторую остроту, которая им очень нравилась. Поэтому первое время Марте приходилось постоянно подыскивать уклончивые ответы на недоуменные вопросы, каким образом они с Джемом могут позволить себе жить в подобном доме, но мало-помалу щепетильная тревога мисс Мэтти утихла, и она свыклась с существующим порядком вещей.

Я уехала от мисс Мэтти с легким сердцем. Количество чая, проданного за первые два дня, превзошло самые радужные мои надежды. Казалось, и в городке, и в его окрестностях все разом остались без чая. Единственное, что мне не нравилось в манере мисс Мэтти торговать, была та жалобная настойчивость, с какой она упрашивала своих клиентов не покупать зеленый чай, объявляя его медленным ядом, который разрушает нервы и приносит всевозможные беды. А упрямство, с каким они его покупали, несмотря на все ее предупреждения, так ее огорчало, что она, как мне казалось, была уже готова перестать его продавать, потеряв при этом половину своих клиентов, и я судорожно изыскивала примеры долголетия, объяснявшиеся исключительно постоянным употреблением зеленого чая. Однако решающим доводом, положившим конец спору, оказалась моя удачная ссылка на ворвань и сальные свечи, которые эскимосы не только с удовольствием едят, но и отлично переваривают. После этого мисс Мэтти признала, что «на вкус и цвет товарищей нет», и с этих пор прибегала к уговорам лишь в тех случаях, когда покупатель, по ее мнению, был слишком молод и неискушен, а потому не мог знать, какое губительное влияние оказывает зеленый чай на некоторые организмы, и довольствовалась привычным вздохом, когда его предпочитали люди, чей возраст, казалось бы, мог подвигнуть их на более мудрый выбор.

Я приезжала из Драмбла по меньшей мере один раз в три месяца, чтобы привести в порядок счета и ответить на деловые письма. Кстати о письмах: мне становилось все более стыдно вспоминать про мое письмо аге Дженкинсу, и я очень радовалась, что никому о нем не упомянула. Я надеялась только, что письмо пропало. Никакого ответа на него не пришло. Будто его и вовсе не было.

Примерно через год после того, как мисс Мэтти открыла лавку, я получила иероглифические каракули Марты, которая умоляла меня приехать в Крэнфорд как можно скорее. Испугавшись, что мисс Мэтти заболела, я выехала в тот же день и очень удивила Марту, которая открыла мне дверь. Как обычно, мы удалились для секретной беседы на кухню, и Марта сказала мне, что роды у нее ожидаются совсем скоро — через неделю, много через две, а, как ей кажется, мисс Мэтти об этом даже не



подозревает, так не возьму ли я на себя объяснить ей положение дел, «потому как, мисс, — продолжала Марта, истерически всхлипывая, — боюсь я, что она этого не одобрит, и уж не знаю, кто будет о ней заботиться, пока я снова не встану на ноги!»

Я утешила Марту, обещав, что останусь в Крэнфорде, пока она совсем не оправится, и только посетовала, почему она не объяснила мне в письме причину этого внезапного вызова — тогда бы я сразу же захватила необходимую одежду. Но Марта так легко начинала плакать и была в таком расстройстве, что я не стала говорить о себе, а попыталась успокоить ее и отогнать, мысли о всех вероятных и возможных несчастьях, которые во множестве рисовались ее воображению.

Затем я тихонько вышла из дома и направилась к двери лавки, словно покупательница, желая застать мисс Мэтти врасплох и посмотреть, как она чувствует себя в своей новой роли. Был теплый майский день, а потому притворена была только малая половина двери. Мисс Мэтти сидела за своим прилавком и вязала подвязки чрезвычайно сложным способом, — впрочем, сложным он казался только мне, а ее нисколько не затруднял, и она негромко напевала в такт быстрому мельканию спиц. Я сказала «напевала», но, вероятно, музыкант не употребил бы этого слова для обозначения немелодичного, хотя и приятного мурлыканья надтреснутого голоса. Не столько по мотиву, сколько по словам я узнала «Славословие», но безмятежное его звучание говорило о душевном спокойствии, и пока я стояла на улице у двери, меня охватила тихая радость, отлично гармонировавшая с этим ясным майским утром. Я вошла в лавку. Сначала мисс Мэтти не узнала меня и встала, готовясь обслужить покупательницу, но уже через секунду бдительный кот вцепился в ее вязанье, которое она уронила, обрадованно всплеснув руками. Мы немного поговорили, и вскоре я убедилась, что Марта сказала правду: мисс Мэтти даже не подозревала о приближающемся семейном событии. Тогда я решила не вмешиваться в естественный ход вещей, не сомневаясь, что получу у мисс Мэтти прощение для Марты, когда явлюсь к ней с младенцем на руках, вопреки всем опасениям преданной служанки, твердившей, что мисс Мэтти ей никогда не простит (ведь новое существо потребует от своей матери внимания и забот, а это казалось ей изменой мисс Мэтти).

Но я оказалась права. По-моему, это у меня наследственное качество, так как мой отец утверждает, что почти никогда не ошибается. В одно прекрасное утро, через неделю после моего приезда, я постучалась в комнату мисс Мэтти, держа на руках маленький сверток из фланели. Когда я показала ей, что это такое, она, исполнившись благоговения, попросила

меня подать ей с тумбочки очки и стала рассматривать крохотное существо с нежным любопытством, словно дивясь его миниатюрному совершенству. Весь день она не могла оправиться от изумления, ходила на цыпочках и была очень молчалива. Но она тихонько поднялась наверх повидать Марту, и обе она поплакали от радости, а потом мисс Мэтти начала поздравлять Джема и, запутавшись, не знала, как кончить, но тут ее спас звонок в лавке, что принесло не меньшее облегчение и застенчивому, гордому, добросердечному Джему, который в ответ на мои поздравления так энергично потряс мне руку, что, по-моему, она и сейчас еще побаливает.

Пока Марта оставалась в постели, у меня было множество хлопот. Я ухаживала за мисс Мэтти и готовила ей еду. Я подвела итоги в ее счетной книге и проверила состояние жестяных ящичков и стеклянных ваз. Кроме того, я иногда помогала ей в лавке и очень забавлялась, а иногда и тревожилась, наблюдая ее манеру торговать. Если ребенок просил унцию миндальных конфет (а четыре большие конфеты того сорта, который держала мисс Мэтти, весили именно столько), она всегда добавляла еще одну — «для довеска», по ее выражению, хотя весы и так показывали больше унции. Когда же я пробовала возражать, она отвечала: «Эти крошки так их любят!» И не было никакого смысла растолковывать ей, что пятая конфета, весившая четверть унции, превращала такую продажу в прямой убыток для ее кармана. А потому я припомнила историю с зеленым чаем и оперила мою стрелу на ее же собственный манер. Я объяснила ей, как тяжелы для желудка миндальные конфеты и как могут разболеться детишки, если съедят их слишком много. Этот довод не пропал втуне, и с этих пор вместо пятой конфеты она сыпала в их подставленные ладошки мятные или имбирные леденцы, дабы предотвратить опасность, которой была чревата их покупка. Разумеется, торговля леденцами, ведущаяся на такой основе, не обещала быть прибыльной, однако я была очень довольна, убедившись, что от продажи чая мисс Мэтти выручила за год больше двадцати фунтов. К тому же, свыкнувшись со своим новым занятием, она даже начала находить в нем удовольствие, так как благодаря ему у нее завязались дружеские отношения со многими окрестными жителями. Она всегда отпускала им чай полным весом, а они, в свою очередь, приносили «дочке покойного священника» маленькие домашние подарки — головку сливочного сыра, пяток свежих яиц, корзиночку только что поспевших ягод, букетик цветов. Она сказала мне, что порой эти подношения занимали весь прилавок.

Что же касается Крэнфорда вообще, то дела там шли, как обычно. Джеймисоновско-хоггинсовская междоусобица все еще была в полном

разгаре, если только существуют междоусобицы, в которых рьяно участвует лишь одна сторона. Мистер и миссис Хоггинс были очень счастливы и, как большинство счастливых людей, предпочли бы вражде дружеские отношения. Более того, миссис Хоггинс, памятуя о прошлой их близости, искренне желала вернуть себе расположение миссис Джеймисон. Но миссис Джеймисон самое их счастье считала оскорблением для фамилии Гленмайр, к которой она все еще имела честь принадлежать, и упрямо отвергала все попытки к примирению. Мистер Муллинер, как верный член клана, усердно поддерживал свою госпожу. Завидев на улице мистера или миссис Хоггинс, он тут же шествовал на другую сторону и предавался созерцанию окружающей жизни вообще и своей дороги в частности, пока предмет его вражды не оставался позади. Мисс Пул развлекалась тем, что прикидывала, как миссис Джеймисон выйдет из положения, если она сама, мистер Муллинер или кто-нибудь еще из ее домашних вдруг заболит — вряд ли у нее хватит духа позвать мистера Хоггинса, после того как она обошлась с ними подобным образом. Мисс Пул просто не терпелось, чтобы с миссис Джеймисон или ее домочадцами приключилась болезнь либо они себе что-нибудь повредили, ибо тогда Крэнфорд наконец узнал бы, как разрешит миссис Джеймисон это затруднение.

Марта начала подниматься с постели, и я уже назначила день своего отъезда, но тут как-то под вечер, когда я сидела с мисс Мэтти в ее уютной лавочке (погода, помнится, была намного холоднее, чем в мае три недели назад, а потому мы топили камин и держали дверь плотно закрытой), мы увидели, что мимо окна медленно прошел незнакомый джентльмен и остановился перед дверью, словно отыскивая глазами вывеску, которую мы так тщательно спрятали. Он достал лорнет и несколько раз оглядел дверь, пока наконец не обнаружил дощечку. Затем он вошел в лавку. И тут мне внезапно пришло в голову, что это сам ага! Ведь в покрое его костюма проглядывало что-то иностранное, а лицо покрывал такой густой загар, словно он много лет провел под палящими лучами солнца. Его смуглая кожа резко контрастировала с густыми белоснежными волосами, а всматриваясь во что-то, он странно щурил темные пронизательные глаза и морщил щеки. Именно так он посмотрел на мисс Мэтти, когда вошел. Сначала его взгляд остановился на мне, но тотчас скользнул на мисс Мэтти, и его глаза сощурились так, как я только что описала. Мисс Мэтти слегка растерялась и взволновалась, но так бывало всегда, когда в ее лавку заходил мужчина. Она опасалась, что он вознамерится расплатиться банкнотой или в лучшем случае совершеном и ей придется подсчитывать сдачу, чего она

терпеть не могла. Однако этот покупатель продолжал стоять перед ней, ничего не спрашивал и только глядел на нее, барабанив пальцами по столу, совсем так, как когда-то мисс Дженкинс. Мисс Мэтти (как она после мне рассказывала) совсем уж собралась спросить, что ему угодно, но тут незнакомец внезапно повернулся ко мне:

— Вас ведь зовут Мэри Смит?

— Да, — ответила я.

Если у меня и были сомнения в том, кто он такой, теперь они рассеялись, но я не представляла себе, что он скажет или сделает дальше и как мисс Мэтти перенесет радостную неожиданность, когда, он ей откроется. По-видимому, он тоже не знал, как приступить к делу, потому что начал вдруг оглядываться, словно решил купить что-нибудь и оттянуть время. Его взгляд остановился на миндальных конфетах, и он смело попросил фунт «вот этих штучек». Вряд ли у мисс Мэтти нашелся бы целый фунт миндальных конфет, но, кроме необычной грандиозности этой покупки, ее огорчила мысль о несварении желудка, которое должно было неминуемо последовать за поглощением их в таком количестве. Она взглянула на него, собираясь возразить. И нежность, смягчившая, его лицо, нашла нежданный отклик в ее сердце. Она сказала:

— Это же... ах, сэр, неужели вы Питер? — и вся задрожала.

Во мгновение ока он очутился позади стола и обнял, ее, а она всхлипывала без слез, как плачут люди в старости. Я принесла ей рюмочку вина — она так побледнела, что встревожилась не только я, но и мистер Питер. Но все время повторял:

— Я напугал тебя, Мэтти, напугал тебя, моя девочка.

Я сказала, что ей следует пойти в гостиную и прилечь там на кушетке. Она вопросительно посмотрела на брата, чью руку продолжала крепко сжимать, даже когда почти лишилась чувств. Он заверил ее, что не расстанется с ней и она позволила ему увести себя наверх.

Я решила, что мне следует сбегать на кухню поставить чайник на огонь, чтобы можно было выпить чаю пораньше; а затем остаться в лавке и не мешать брату и сестре — ведь, несомненно, им нужно будет поведать друг другу очень многое. Кроме того, я должна была сообщить эту новость Марте, которая так расплакалась, что и я еле удержалась от слез. Между всхлипываниями она спрашивала: а уверена ли я, что это действительно брат мисс Мэтти? Ведь я говорю, будто он совсем седой, а она столько раз слышала, что он очень красивый молодой джентльмен. Такое же недоумение, по-видимому, мучило за чаем и мисс Мэтти, которую мы усадили в покойное кресло напротив мистера Дженкинса, так, чтобы она

могла вдоволь на него наглядеться. Она почти не пила чая, а только смотрела, о еде же не могло быть и речи.

— Вероятно, жаркий климат старит людей очень быстро, — произнесла она словно про себя. — Когда ты уехал из Крэнфорда, у тебя на голове не было ни единого седого волоска.

— Но сколько лет прошло с тех пор? — улыбаясь, спросил мистер Питер.

— Да-да, конечно! Наверное, мы с тобой стареем. Но все-таки я не думала, что мы такие уж старые. Зато седые волосы очень идут тебе, Питер, — добавила она, опасаясь, не обидела ли его тем, что не сумела скрыть, какое впечатление произвела на нее его внешность.

— Видно, и я забыл о времени, Мэтти, потому что, как ты думаешь, какие подарки привез я тебе из Индии? В Портсмуте в моем багаже лежит для тебя платье из индийского муслина и жемчужное ожерелье. — Он улыбнулся, словно его позабавил контраст между такими подарками и наружностью его сестры, но она в первую минуту не подумала об этом и только восхитилась, их элегантностью. Несколько мгновений она мысленно видела себя в платье из индийского муслина и в жемчужном ожерелье и инстинктивно поднесла руку к шее — к тонкой изящной шейке, которая (как говорила мне мясе Пул) в дни ее юности была прелестной. Но пальцы дотронулись только до складок мягкого муслина, который теперь всегда окутывал ее до самого подбородка, и это прикосновение напомнило ей, что в ее лета уже не носят жемчужных ожерелий. Она сказала:

— Боюсь, я слишком стара для них. Но все равно с твоей стороны было очень мило выбрать такие подарки. Именно они обрадовали бы меня больше всего много лет назад... когда я была молода.

— Так я и подумал, моя маленькая Мэтти. Я помнил твои вкусы: они были так схожи со вкусами нашей милой мамы.

При этом слове брат и сестра нежно взялись за руки, и, хотя оба замолчали, мне показалось, что они могли бы многое сказать друг другу, если бы не мое присутствие. Я встала, собираясь приготовить мою спальню для мистера Питера, с тем чтобы самой спать с мисс Мэтти. Но, заметив мое движение, он вскочил.

— Мне нужно сходить в «Георг» и оставить за собой номер. Мой саквояж тоже там.

— Нет! — в отчаянии вскричала мисс Мэтти. — Ты не должен уходить. Пожалуйста, милый Питер... Мэри, прошу вас... нет, ты не должен уходить!

Она так взволновалась, что мы оба пообещали ей все, что она хотела.

Питер снова сел и протянул ей руку, которую она для пущей надежности сжала обеими руками, а я покинула их, чтобы перенести свои вещи.

До самой-самой поздней ночи, до самого-самого рассвета разговаривали мы с мисс Мэтти. Ей надо было многое: сообщить мне о жизни и приключениях своего брата, про которые он рассказал ей, пока они остались наедине. Она утверждала, что прекрасно во всем разобралась, но я так до конца и не поняла, как, собственно, все произошло, а когда впоследствии я утратила первый благоговейный страх перед мистером Питером и попробовала расспросить его сама, он посмеялся моему любопытству и нарасказал мне множество историй, удивительно походивших на воспоминания барона Мюнхгаузена, и мне оставалось только прийти к заключению, что он надо мной подшучивает. От мисс Мэтти же я слышала, что он волонтером участвовал в осаде Рангуна,<sup>[73]</sup> был взят в плен бирманцами, вошел в милость к вождю небольшого племени, вылечил его кровопусканиями от какой-то опасной болезни, и в конце концов получил свободу. Письма, которые он писал после долголетнего пребывания в плену, возвращались из Англии со зловещей пометкой «за смертью адресата», и, решив, что все его близкие умерли, он остался в Индии и начал выращивать индиго и собирался окончить свои дни в стране, с обитателями и нравами которой давно свыкся, когда получил мое письмо. С той странной порывистостью, какую он не утратил и в старости, он продал свою плантацию и все свое имущество первому же покупателю и вернулся на родину к бедной старой сестре, которая, глядя на него, чувствовала себя богаче и счастливее любой принцессы. В конце концов я уснула под звук ее голоса, но вскоре проснулась от легкого скрипа двери, и мисс Мэтти, извинившись, что разбудила меня, виновато забралась в кровать. По-видимому, когда она перестала черпать у меня подтверждения, что ее давно пропавший брат действительно вернулся и спит под одним с ней кровом, она начала опасаться, не грезил ли она наяву — а вдруг Питер вовсе не провел с ней этого блаженного вечера, а вдруг настоящий Питер давно уже спит последним сном под океанскими валами или под каким-нибудь неведомым восточным деревом? И этот ее нервный страх стал таким сильным, что она поднялась и пошла убедиться, действительно ли он здесь, послушав у двери его спокойное, ровное дыхание. Мне не хотелось бы называть эти звуки храпом, но я слышала их сквозь две закрытые двери — и мало-помалу они утишили волнение мисс Мэтти и убаюкали ее.

Не думаю, что мистер Питер вернулся на родину из Индии богатым, как набоб. Сам он даже считал себя бедняком, но ни его, ни мисс Мэтти это

особенно не заботило. Как бы то ни было, он имел достаточно, чтобы жить и Крэнфорде «очень аристократично» вместе с мисс Мэтти. Дня через два после его приезда лавка была закрыта, и ватаги уличных ребятишек с восторгом ожидали ливня конфет и леденцов, который время от времени обрушивался на их мордашки, задранные к окнам гостиной мисс Мэтти. Иногда мисс Мэтти увещевала их, прячась за оконной занавеской: «Милые детки, смотрите не захворайте», но сильная рука увлекала ее в глубь комнаты, и снова вниз сыпался сладкий град. Запасы чая были частично преподнесены крэнфордским дамам, а кроме того, его раздали старикам, еще помнившим мистера Питера в дни его озорной юности. Платье из индийского муслина было отложено для милой Флоры Гордон (дочери мисс Джесси Браун). Гордоны последние годы жили на континенте, но должны были скоро вернуться, и мисс Мэтти, исполненная сестринской гордости, радостно предвкушала, как она познакомит их с мистером Питером. Жемчужное ожерелье исчезло, и примерно тогда же мисс Пул и миссис Форрестер получили много прекрасных и полезных подарков, а гостиные миссис Джеймисон и миссис Фиц-Адам украсились изящными индийскими безделушками. Не была забыта и я. Среди прочего мне было вручено собрание сочинений доктора Джонсона — самое лучшее, какое только удалось достать, великолепно переплетенное, и милая мисс Мэтти со слезами на глазах попросила меня считать его подарком и от ее сестры. Короче говоря, никто не был забыт, и более того: всякий человек, даже самый незаметный и смиренный, который когда-нибудь оказал мисс Мэтти ту или иную услугу, мог быть уверен в сердечной благодарности мистера Питера.

## ГЛАВА XVI

# МИР НИСХОДИТ НА КРЭНФОРД

Нет ничего удивительного, что мистер Питер стал любимцем Крэнфорда. Дамы восхищались им одна больше другой — ведь их тихая жизнь поразительно оживилась с приездом человека из Индии, тем более что человек этот рассказывал истории, которые посрамили бы самого Синдбада Морехода, и, как выразилась мисс Пул, сам был куда интереснее любой из сказок «Тысячи и одной ночи». Что до меня, то, всю свою жизнь балансируя между Драмблом и Крэнфордом, я была склонна счесть истории мастера Питера чистейшей правдой, несмотря на всю их удивительность, но когда я обнаружила, что стоило нам на этой неделе принять за чистую монету приключение более или менее правдоподобное, как на следующей нам подносилась доза вдвое более крепкая, у меня появились некоторые сомнения. Тем более что в присутствии его сестры, как я обратила внимание, истории из индийской жизни становились несколько пресноватыми. Не то чтобы она знала об этом больше нас — скорее наоборот. Кроме того я заметила, что с нашим священником, когда он приходил с визитом, мистер Питер разговаривал о странах, в которых ему довелось побывать, совсем иначе. Но, пожалуй, крэнфордские дамы перестали бы считать его столь замечательным путешественником, если бы они слышали и эти его рассказы. Им он нравился еще больше именно потому, что был, как они выражались, «таким восточным».

Однажды на званом вечере, который дала в его честь мисс Пул, пригласив самое избранное общество — его почтила своим присутствием сама миссис Джеймисон и даже предложила прислать мистера Муллинера прислуживать за столом, а потому, естественно, мистер и миссис Хоггинс и миссис Фиц-Адам в число приглашенных включены не были, — так вот, на этом вечере у мисс Пул мистер Питер объявил, что устал сидеть на жестком стуле с неудобной прямой спинкой и попросил разрешения сесть на пол по-турецки. Мисс Пул с восторгом дала согласие, и он с невозмутимой серьезностью расположился на ковре. Однако, когда мисс Пул спросила меня громким шепотом, «не нахожу ли я, что он похож на повелителя правоверных», я невольно вспомнила бедного Саймона Джонса, хромого портного, и пока миссис Джеймисон медлительно рассуждала об элегантности и удобности этой позы, мне пришло на память, как мы все



под водительством этой высокородной дамы безоговорочно осудили мистера Хоггинса за вульгарность, хотя он всего лишь положил ногу на ногу, продолжая чинно сидеть на стуле. Многие застольные привычки мистера Питера производили странное впечатление в присутствии таких дам, как мисс Пул, мисс Мэтти и миссис Джеймисон, особенно когда я припомнила отодвинутый зеленый горошек и двузубые вилки за обедом у бедного мистера Холбрука.

Это имя приводит мне на память разговор, который произошел между мистером Питером и мисс Мэтти как-то вечером в то лето, когда он вернулся в Крэнфорд. День был необыкновенно жарким, и мисс Мэтти очень устала от горячего солнца, которым ее брат наслаждался. Она, как я помню, не смогла даже понянчить ребенка Марты, хотя в последнее время это стало самым большим ее удовольствием и младенец чувствовал себя у нее на руках так же хорошо, как у матери, — так продолжалось до тех пор, пока он не стал слишком тяжел для хрупких сил мисс Мэтти. В тот день, о котором я рассказываю, мисс Мэтти чувствовала себя более слабой и вялой, чем обычно, и несколько ожила, только когда солнце зашло и мы пододвинули ее кушетку к открытому окну, из которого, хотя оно и выходило на городскую улицу, время от времени веяло душистым запахом сена — его приносил с окрестных лугов легкий ветерок, то чуть-чуть освежавший неподвижный воздух сумерек, то вновь замиравший. Душное безмолвие нарушалось множеством звуков, доносившихся из многочисленных распахнутых окон и дверей. Даже дети, несмотря на поздний час (было что-то между десятью и одиннадцатью), еще не ложились и затеяли на улице игру, потому что в дневную жару у них не было охоты бегать и кричать. Мисс Мэтти радовалась, замечая, как мало горит свечей даже в тех домах, где царило наибольшее оживление. Некоторое время мистер Питер, мисс Мэтти и я сидели молча и думали о своем, а затем мистер Питер внезапно сказал:

— Знаешь, малютка Мэтти, когда я в последний раз покидал Англию, я готов был поклясться, что ты вот-вот выйдешь замуж. Если бы мне кто-нибудь сказал тогда, что ты так и останешься старой девой, я бы расхохотался ему в лицо.

Мисс Мэтти ничего не ответила, а я попыталась придумать, как бы переменить разговор, но не сумела, и он снова заговорил, опередив меня:

— Я тогда не сомневался, что Холбрук, хозяин Вудли — отличный был человек, — поведет к алтарю мою маленькую Мэтти. Вам, наверное, трудно будет поверить, Мэри, но в свое время моя сестричка была на редкость хорошенькой — во всяком случае, так думал я и, конечно, бедняга

Холбрук, уж в этом я убежден. И почему только он умер до того, как я вернулся, чтобы поблагодарить его за все то добро, которое он сделал никчемному щенку, каким я тогда был? Потому-то я и заподозрил, что он к тебе неравнодушен — ведь когда мы отправлялись на рыбную ловлю, то говорили только про Мэтти да про Мэтти. Бедная Дебора! Какой нагоняй задала она мне однажды за то, что я пригласил его к завтраку, когда утром она видела в городе карету Арли — а вдруг миледи решит заехать к нам? С тех пор много лет прошло, чуть не вся жизнь прожита, а кажется, было это только вчера! Лучшего зятя я себе и пожелать бы не мог. Наверное, ты плохо разыграла свои карты, малютка Мэтти, ты допустила где-то промашку — вот был бы у тебя твой брат в посредниках, а, девочка? — сказал он, беря ее за руку. — Это что еще? Ты же вся дрожишь, Мэтти, из-за этого проклятого сквозняка. Мэри, сию же минуту закройте окно!

Я исполнила его просьбу, а потом наклонилась поцеловать мисс Мэтти и посмотреть, действительно ли она озябла. Она схватила мою руку и крепко ее сжала — но, по-видимому, сама того не сознавая, так как через минуту-другую заговорила с нами обычным голосом, улыбнувшись нашей тревоге, хотя терпеливо подчинилась нашему требованию немедленно лечь в теплую постель и выпить стакан некрепкого негуса. На следующий день я покидала Крэнфорд, но перед отъездом убедилась, что открытое окно длительного вреда не причинило. Последние недели я приглядывала за теми переделками и изменениями, которые нужно было произвести в доме. Лавка опять стала столовой, пустые гулкие комнаты вновь наполнились мебелью.

Кто-то высказал предположение, что Марте и Джемму следовало бы поселиться где-нибудь еще, но мисс Мэтти и слышать об этом не хотела. Право, я никогда не видела ее такой рассерженной, как в ту минуту, когда мисс Пул объявила, что это было бы лучше всего. Нет, пока Марта хочет оставаться у мисс Мэтти, мисс Мэтти будет этому только рада. Да и Джем тоже — такой мужчина в доме только приятен: она его неделями не видит. Ну, а будущие дети... если они все окажутся такими ангельчиками, как ее крестница Матильда, то чем больше их будет, тем лучше, — если, конечно, и Марта так думает. К тому же следующую девочку назовут Деборой (в свое время мисс Мэтти с неохотой отступила перед упрямством Марты, которая во что бы то ни стало решила назвать свою первую дочку Матильдой). А потому мисс Пул пришлось сдаться, и она совсем другим тоном сказала мне, что раз уж мистер и миссис Хирн и дальше будут жить здесь, мы поступили очень разумно, наняв Марте в помощь ее племянницу.

Когда я уезжала, мисс Мэтти и мистер Питер были устроились как

нельзя удобнее и всем довольны. Только злополучная ссора между миссис Джеймисон и плебейскими Хоггинсами, а также их сторонниками еще огорчала нежное сердце сестры и была противна дружелюбной натуре брата. Однажды я шутливо предсказала, что ссора эта будет длиться только до той поры, пока миссис Джеймисон или мистеру Муллинеру не случится прихворнуть, а уж тогда они поспешат помириться с мистером Хоггинсом. Однако мисс Мэтти не понравилось, что я столь легкомысленно готова обрадоваться такой беде, как болезнь. Впрочем, год еще не кончился, а все уже уладилось самым наилучшим образом.

В одно знаменательное октябрьское утро я получила из Крэнфорда два письма. И мисс Пул и мисс Мэтти приглашали меня приехать, чтобы повидаться с Гордонами, которые вернулись в Англию живыми и здоровыми вместе с двумя своими детьми, уже совсем взрослыми. Милая Джесси Браун, сменив фамилию и положение, сохранила свой прежний приветливый характер. Она написала, что они с майором Гордоном рассчитывают быть в Крэнфорде четырнадцатого, и просила передать приветы и поклоны миссис Джеймисон (названной первой из уважения к ее высокородности), мисс Пул и мисс Мэтти — разве она может забыть, как добры они были к ее бедному отцу и сестре? — миссис Форрестер, мистеру Хоггинсу (тут опять следовало упоминание о давней его доброте) и его жене, которая в этом качестве должна извинить миссис Гордон ее желание познакомиться с ней, тем более что в бытность свою в Шотландии майор имел честь принадлежать к числу ее друзей. Короче говоря, перечислены были все, начиная от городского священника (который был назначен в Крэнфорд в промежутке между смертью майора Брауна и свадьбой мисс Джесси и оказался причастным ко второму из этих событий) и до мисс Бетти Баркер. И все были приглашены на званый завтрак — то есть все, кроме миссис Фиц-Адам, которая поселилась в Крэнфорде, когда мисс Джесси Браун оттуда уже уехала, и которая была очень расстроена тем, что ее не пригласили. Включение в почетный список мисс Бетти Баркер вызвало некоторое удивление, но, как указала мисс Пул, нам ведь было известно, в каком пренебрежении к светским приличиям воспитывал бедный капитан своих дочерей, и вот ради него мы поступились своей гордостью. Миссис же Джеймисон сооблаговолила усмотреть своего рода комплимент в том, что мисс Бетти (сестру ее бывшей горничной) поставили в один ряд с «этими Хоггинсами».

Но когда я приехала в Крэнфорд, о собственных намерениях миссис Джеймисон еще ничего известно не было. Будет ли высокородная дама присутствовать на завтраке или нет? Мистер Питер объявил, что она

должна там быть — и будет; мисс Пул покачала головой и усомнилась. Но мистер Питер был изобретательным человеком. Во-первых, он убедил мисс Мэтти написать миссис Гордон, сообщить ей о существовании миссис Фиц-Адам и попросить, чтобы эта добросердечная, благожелательная женщина была включена в список приглашенных. Ответ пришел с обратной почтой. В него была вложена любезная записочка для миссис Фиц-Адам, и он содержал просьбу, чтобы мисс Мэтти сама вручила ее адресату и объяснила причину такого упущения. Миссис Фиц-Адам чрезвычайно обрадовалась, и без конца благодарила мисс Мэтти. Мистер Питер сказал: «Миссис Джеймисон предоставьте мне». Так мы и поступили, тем более что не имели ни малейшего понятия, как бы мы сумели принудить ее изменить раз принятое решение.

Ни я, ни мисс Мэтти не знали, как идут дела, пока накануне приезда Гордонов мисс Пул не спросила у меня, не думаю ли я, что у мистера Питера и миссис Джеймисон есть матримониальные намерения, ибо миссис Джеймисон и в самом деле собирается присутствовать на завтраке в «Георге». Она уже послала мистера Муллинера распорядиться, чтобы перед креслом в самом теплом углу была поставлена скамеечка для ног — она там будет, а ей известно, что мебель у них очень высокая. Подхватив эту новость, мисс Пул сделала из нее множество всяких выводов и принялась оплакивать еще большее число вытекавших из них следствий.

— Если Питер женится, что станется с бедной милой мисс Мэтти? Да еще на миссис Джеймисон!

Мисс Пул, по-видимому, думала, что в Крэнфорде есть и другие невесты, которые сделали бы больше чести его вкусу, и, мне кажется, она имела в виду какую-то девицу, так как несколько раз повторила:

— Для вдовы думать о чем-то подобном — это такая грубость чувств!

Когда я вернулась домой к мисс Мэтти, мне и вправду показалось, что мистер Питер подумывает о браке с миссис Джеймисон, и я расстроилась не меньше мисс Пул. Он держал в руке пробный оттиск большой афиши. «Синьор Брунони, придворный маг владыки Дели, раджи Ауда, тибетского Великого ламы и т. д.», намеревался «дать в Крэнфорде только одно представление» вечером следующего дня, в мисс Мэтти с ликующей улыбкой показала мне письмо Гордонов, обещавших остаться на представление, которым мы, по словам мисс Мэтти, были обязаны Питеру, и только ему. Он написал синьору, прося его приехать, и взял на себя все расходы. Бесплатные пригласительные билеты будут разосланы всем, кого только сможет вместить зал. Короче говоря, мисс Мэтти была в восторге — завтрак в «Георге» с милыми Гордонами и синьор в зале ассамблеи

вечером. Но я... я видела только роковые слова:

«Под покровительством ВЫСОКОРОДНОЙ МИССИС ДЖЕЙМИСОН».

Так, значит, она пожелала взять под свою высокую руку развлечение, которое мистер Питер приготовил для общества! Быть может, она собирается вытеснить из его сердца мою милую мисс Мэтти и снова обречь ее на одиночество? И я ждала завтрашнего дня без всякого удовольствия, а простодушная радость мисс Мэтти только усугубляла мою тревогу и раздражение.

Вот так я продолжала сердиться и досадовать, преувеличивая каждый пустяк, который мог послужить новой пищей для моего дурного настроения, пока мы все не собрались в большой столовой «Георга». Майор и миссис Гордон, хорошенькая Флора и мистер Людовик были в высшей степени веселы, приятны и любезны, но я почти не видела их, поглощенная наблюдением за мистером Питером. Как я заметила, мисс Пул занималась тем же. Мне еще никогда не приходилось видеть миссис Джеймисон в таком оживлении: казалось, ее чрезвычайно интересует то, что говорил ей мистер Питер. Я подобралась поближе, чтобы послушать. И ощутила большое облегчение, убедившись, что говорит он не о любви, а, несмотря на всю серьезность его лица, опять принялся за старые штучки. Он рассказывал ей о своих путешествиях по Индии и описывал невероятную высоту Гималайских гор. Один штрих за другим увеличивал их размеры, и каждый был нелепее предыдущего, но миссис Джеймисон слушала с восхищением и полным доверием. Вероятно, требовались очень сильные стимулирующие средства, чтобы вывести ее из обычной апатии. В заключение мистер Питер сообщил, что разумеется, на такой высоте не водится ни одно из животных, обитающих ниже, — и дичь, и все прочее были совсем иными. Однажды он выстрелил, как ему казалось, в летящую птицу, а когда она упала, к большому своему смущению, обнаружил, что подстрелил херувима! В эту секунду мистер Питер перехватил мой взгляд и так лукаво мне подмигнул, что мои опасения сразу рассеялись: нет, он, конечно, и не помышлял жениться на миссис Джеймисон! По ее лицу было видно, что она неприятно изумлена.

— Но, мистер Питер, застрелить херувима... не кажется ли вам... Боюсь, это было святотатство!

Мистер Питер скрыл улыбку и сделал вид, что его очень смутило это предположение, которое (объявил он совершенно правдиво) было высказано ему впервые. Не с другой стороны, миссис Джеймисон должна помнить, что он много лет прожил среди дикарей, которые все были

язычниками, а некоторые, должен он с сожалением признать, так и вовсе диссидентами.<sup>[74]</sup> Затем, увидев, что к ним приближается мисс Мэтти, он поспешно переменял разговор, а еще через несколько минут подошел ко мне и сказал:

— Пусть вас не шокируют мои историйки, чопорная малютка Мэри. Я считаю миссис Джеймисон честной добычей, и, кроме того, я задался целью умиловить ее, а для этого в первую очередь необходимо не давать ей уснуть. Я подкупил ее, попросив быть патронессой моего бедного фокусника на этот вечер, и теперь стараюсь, чтоб у нее не хватило времени вспомнить о своей злости на Хоггинсов, — вон они как раз входят в вал. Я хочу, чтобы все тут были друзьями — эти ссоры так волнуют Мэтти. И сейчас я снова примусь за свое, а вы не делайте шокированного вида. Я намерен войти сегодня в зал перед представлением, ведя правой рукой миссис Джеймисон, а левой — миледи миссис Хоггинс. Вот посмотрите, добьюсь я этого или нет!

Каким-то образом он этого добился, и они даже заговорили друг с другом. Майор и миссис Гордон очень помогли этому доброму делу тем, что ничего не знали о холодности, существовавшей между некоторыми обитателями Крэнфорда.

С этого дня в крэнфордском обществе вновь воцарился былой дружественный дух, чему я очень рада, помня, как добра моя милая мисс Мэтти и как она любит тишину и мир. Мы все любим мисс Мэтти, и иногда мне кажется, что в ее присутствии мы все становимся лучше.

1853 г.

---

---

notes
-------

## **Комментари и примечания**

Именно газете «Манчестер гардиен» — органу буржуазных либералов — принадлежало наиболее резкое и бездоказательное выступление против романа «Мэри Бартон» (28 февраля 1849 г.).



«... древние законы острова Мэн.» — Мэн — один из Британских островов, расположенный в Ирландском море. Он входит в состав Великобритании, но в значительной мере сохранил самоуправление. Обычай, требовавший, чтобы каждый новый закон, прежде чем войти в силу, публично оглашался с горы Тинуолд, вышел из употребления совсем недавно.

Корпоративный дух (франц.).

«Джок из Хейзелдина» — баллада Вальтера Скотта (1771–1832), героиню которой насильно выдают замуж, но в день свадьбы она бежит к своему возлюбленному, Джоку из Хейзелдина.

Кстати (франц.).

«Записки Пиквикского клуба» — Роман Чарльза Диккенса (1812–1870) «Посмертные записки Пиквикского клуба» выходил отдельными выпусками с апреля 1836 по 1837 год. Первые очерки Диккенса были объединены в сборнике, носившем заглавие «Очерки Боза».

Джонсон Сэмюэл (1709–1784) — английский писатель, журналист и лексикограф, игравший виднейшую роль в литературной жизни Англии второй половины XVIII века. Он составил «Словарь английского языка», издавал несколько журналов, в том числе «Рассеянный», значительная часть которого писалась им самим. Его философская повесть «Расселас, принц Абиссинский» (1759) посвящена теме несоответствия между человеческим стремлением к счастью и реальным осуществлением этих стремлений.

Вполголоса (итал.).

В курсе (франц.).



«Воин в пернатых шлемах» — искаженная цитата из «Отелло» В. Шекспира, акт III, сцена 3.

«...незаслуженно носящего название мыса Доброй Надежды.» — Мыс Доброй Надежды, находящийся на южной оконечности Африки, был назван так открывшими его португальскими моряками, которые искали морской путь в Индию. Однако из-за частых ураганов, бушующих в этом районе, его нередко называли «Мысом Бурь».

«...яствами духа, напитком беседы ученой» — строка из сатиры древнеримского поэта Горация (65-8 гг. до н. э.), переведенной на английский язык поэтом А. Попом (1688–1744).

«...к прозрачным родникам родного языка, ничем не замутненным» — строка из стихотворения американского поэта Джона Уитьера (1807–1892) «Джеймс Рассел Лоуэлл».

«Вот Он убивает меня, но я буду надеяться!» — Библия, книга Иова, XIII, 15.

«Рождественская песня» — один из рождественских рассказов Чарльза Диккенса, опубликованный в 1843 году.

«Армейские списки» — периодически публиковавшиеся списки офицерского состава английской армии.

«Мой покой не нарушайте» — строка из стихотворения английского поэта Т. Грея (1711–1771) «Нисхождение Одина». Предыдущая строка гласит: «И уста без сил смолкают».



Йомен — Так называли в средневековой Англии свободного земледельца, не имевшего рыцарского звания. В описываемую эпоху — исторический термин.

Герберт Джордж (1593–1633) — английский поэт.

Амина — жена одного из персонажей сказок «Тысячи и одной ночи», оказавшаяся ведьмой-оборотнем. Это открылось, в частности, потому, что рис она ела, накалывая по одной рисинке на шило.

«Блэквудс», точнее «Блэквудс мэгезин» — основанный в 1817 году литературно-критический журнал консервативного направления.

«Замок Локсли» — поэма английского поэта А. Теннисона (1809–1892), вышедшая в свет в 1842 году.

Падуасуа — тяжелая шелковая материя.

Приданое (франц.).

Пока я не забуду сам себя, пока ведет меня мой слабый дух (лат.)



Стихами (лат.).

Послания (лат.).

Марк Туллий Цицерон (106-43 гг. до н. э.) — древнеримский политический деятель, знаменитый оратор. Его послания друзьям считаются образцом классической латыни.

Чапоун Эстер (1727–1801) — английская писательница, сотрудничала в журнале Сэмюэла Джонсона «Рассеянный». Особенной популярностью пользовались ее «Письма об обогащении ума».

Картер Элизабет (1717–1806) — английская поэтесса и переводчица. Знала девять языков, в том числе древнееврейский и арабский. Находилась в долголетних дружеских отношениях с Сэмюэлом Джонсоном, напечатавшим в «Рассеянном» две ее статьи.

Эджуорт Мэри (1767–1849) — английская романистка, в свое время пользовавшаяся большой популярностью.

«...отразить вторжение Буонапарте.» — С 1803 года Англия находилась в состоянии войны с Францией. Военные действия велись в основном на море. В 1804 году французский император Наполеон Бонапарт (1769–1821) энергично готовился к высадке в Англии, однако несколько побед, одержанных англичанами над французским флотом, положили конец этим планам. Противники Наполеона нередко произносили его фамилию на итальянский лад — «Буонапарте», подчеркивая его итальянское происхождение. В Англии его презрительно называли «Бони».

Абадонна (по-гречески Аполлион) — имя одного из верховных демонов в христианской мифологии.



Добрый Бернард видит не все (лат.).

Пословицы (лат.).

«Сентджеймская хроника» — придворная газета. В описываемую эпоху официальной резиденцией английского короля был Сентджеймский дворец.

«...с лилиями полевыми.» — Имеется в виду евангельский текст: «Посмотрите на лилии полевые, как они растут: не трудятся, не прядут, но говорю вам, что и Соломон во всей своей славе не одевался так, как всякая из них» (Матфей, VI, 28–29).

«...как царица Эсфирь шла к царю Артаксерксу.» — Имеется в виду библейская «Книга Эсфири», в которой рассказывается о борьбе между Эсфирью, любимой женой персидского царя Артаксеркса, и его визирем. Чтобы разрушить козни визиря, Эсфирь была вынуждена пойти к царю без приглашения, хотя такое нарушение дворцовых порядков грозило ей смертью.

Джонбульность — Джон Буль — персонаж сатиры «История Джона Буля» (1712), олицетворявший английскую нацию. С тех пор это имя употребляется для обозначения Англии или собирательных черт английского национального характера.

Королева Аделаида — жена английского короля Вильгельма IV, царствовавшего с 1830 по 1837 год. Его предшественник Георг IV разошелся с женой в 1806 году, обвинил ее в супружеской неверности и затеял против нее скандальный бракоразводный процесс. Таким образом, в Англии почти двадцать пять лет фактически не было королевы, чем и объясняется повышенный интерес и почтение крэнфордских дам к «добропорядочной» Аделаиде.

Вышедшим из моды (франц.).



«...вышла замуж за генерала.» — По-видимому, речь идет о генерале Джоне Бургойне, который в 1776 году, во время американской Войны за независимость, командовал английской армией, направленной из Канады на подавление восставших колонистов, потерпел поражение и капитулировал, за что подвергся в Англии гонениям. Бургойн был автором нескольких пьес, наиболее известная из которых комедия «Наследница» пользовалась большим успехом и долго держалась на сцене. В юности, еще будучи лейтенантом, он женился на дочери графа Дерби, которую романтически похитил, но через три года уехал из Англии и вернулся туда уже после смерти жены.

Бывшей (франц.).

Принц Альберт (1819–1861) — муж английской королевы Виктории, царствовавшей с 1837 по 1901 год. Он носил титул «принца-консорта» и был официально отстранен от всех дел, связанных с управлением страной.

Хогарт Уильям (1697–1764) — знаменитый английский художник, создавший ряд картин, сатирически изображавших сцены из жизни различных слоев современного ему английского общества.

Стоунхендж — постройка каменного века в окрестностях английского города Солсбери. Она состоит из огромных вертикально поставленных монолитов, которые в центральной ее части расположены подковой.

Уменьем себя вести (франц.).

Омбр и кадриль — популярные в XVIII веке карточные игры.

«...уомвелловские львы» — Уомвелл был владельцем одного из первых в Англии странствующих зверинцев.



Придворный менуэт (франц.).

«Тадеуш Варшавский» — роман английской писательницы Джейн Портер (1776–1850).

«Венгерские братья» — роман Анны Марии Портер (1780–1832), сестры Джейн Портер.

Эндорская волшебница — в Библии колдунья, обладавшая властью вызывать души умерших.

Королева Шарлотта (1744–1818) — жена английского короля Георга III.

«...одна из мисс Ганнинг.» — Сестры Ганнинг, Мария (1733–1760) и Элизабет (1734–1790), славились своей красотой. Первая вышла замуж за графа Ковентри, вторая — за герцога Гамильтона.

Сняв шляпу (франц.).

Подлинных (лат.).

Генерал Бургойн — см. прим. 42.



«...сражался с французами в Испании» — Попытка Наполеона в 1808 году захватить Испанию вызвала там всенародное восстание. В войне за свою независимость испанцы прибегли к помощи Англии. Английские войска вели в Испании военные действия против французов с 1808 года вплоть до падения наполеоновской империи в 1814 году.

Мадам де Сталь (1766–1825) — французская писательница. На портрете кисти художника Жерара (1770–1837) она изображена в тюрбане, которые были модны в начале века.

Денон Доминик (1747–1825) — французский художник и гравёр. В 1798–1799 годах сопровождал французские войска во время экспедиции в Египет и в 1802 году издал книгу «Путешествие по Верхнему в Нижнему Египту во время кампании Бонапарта», которую сам иллюстрировал. В то время Египет входил в состав Турецкой империи.

А именно (лат.).

Герцог Веллингтон (1769–1852) — английский полководец и государственный деятель, пользовался в Англии большой популярностью, как победитель Наполеона при Ватерлоо. В 1834–1835 годах был министром иностранных дел.

Лорд Честерфилд (1694–1773) — английский политический-деятель и дипломат. Прославился своими «Письмами к сыну», которые представляют собой настоящий кодекс обычаев и манер английского великосветского общества середины XVIII века.

Тиррел — Английский король Вильгельм II Рыжий (1087–1100) был во время охоты найден убитым стрелой. Современники считали его убийцей французского рыцаря Тиррела, который сразу бежал во Францию, а оттуда отправился в крестовый поход. В 1483 году Джеймс Тиррел, сторонник будущего короля Ричарда III, руководил убийством малолетних племянников Ричарда, законных наследников престола. В 1502 году он был казнен Генрихом VII, свергнувшим Ричарда III.

«...вот в чем был вопрос.» — слегка измененная цитата из знаменитого монолога Гамлета «Быть или не быть» (Шекспир, «Гамлет», акт III, сцена 1).



Главное блюдо (франц.).

«Лалла-Рук» — поэма английского поэта Т. Мура (1779–1852), опубликованная в 1817 году. Она состоит из четырех восточных сказок, первая из которых называется «Хоросанский пророк под покрывалом».

«...озирает род людской от Китая и до Перу.» — строка из стихотворения Самюэла Джонсона «Тщета человеческих желаний».

Касательно (франц.).

«...чем-то вроде ног испанской королевы.» — Имеется в виду следующий исторический анекдот: когда французской принцессе, невесте испанского короля, город, через который она проезжала на пути к жениху, преподнес корзину шелковых чулок, сопровождавший ее испанский посол с негодованием отверг этот подарок, заявив, что у испанской королевы нет ног.

Признаться ли вам, мама? (франц.).

Лежащего (франц.) — геральдический термин.

«...участвовал в осаде Рангуна.» — Рангун, столица Бирмы, был взят англичанами в 1824 году в начале первой англо-бирманской войны, но вскоре отбит обратно.



Диссиденты — в Англии общее название ряда сект, ее признающих догматов англиканской церкви.